



Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х

БОРИС
МИНАЕВ

РОМАН
В РАССКАЗАХ



Самое время!

Борис Минаев

**Ковбой Мальборо,
или Девушки 80-х**

«WebKniga»

2018

Минаев Б. Д.

Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х / Б. Д. Минаев —
«WebKniga», 2018 — (Самое время!)

ISBN 978-5-9691-1715-0

"Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х" — новая книга известного российского писателя Бориса Минаева. "Жизнь любой женщины — это практически всегда остросюжетный, эпический, великий роман", — считает автор. В данном случае под одной обложкой собраны двадцать три истории из жизни молодых женщин, каждая из которых — воистину героиня своего времени. Того времени, когда начался великий разлом двух эпох и когда сформировался характер целого поколения.

ISBN 978-5-9691-1715-0

© Минаев Б. Д., 2018

© WebKniga, 2018

Содержание

Информация от издательства	5
Библиотека всемирной литературы	6
Очки	12
Платформа Турист	18
Не поле перейти	28
«Оптика» на Масловке	36
Теория упругости	43
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Борис Минаев

Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х

Информация от издательства

Борис Минаев

Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х: роман в рассказах / Борис Дорианович Минаев. – М.: Время, 2018. – (Самое время!)

ISBN 978-5-9691-1715-0

«Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х» – новая книга известного российского писателя Бориса Минаева. «Жизнь любой женщины – это практически всегда остросюжетный, эпический, великий роман», – считает автор. В данном случае под одной обложкой собраны двадцать три истории из жизни молодых женщин, каждая из которых – воистину героиня своего времени. Того времени, когда начался великий разлом двух эпох и когда сформировался характер целого поколения.

© Б. Минаев, 2018

© Состав, оформление, «Время», 2018

Библиотека всемирной литературы

Елена Шульцбергер, русская, 24 лет, студентка Всесоюзного института культуры, член ВЛКСМ с 1976 года, как-то раз потеряла книгу – сочинения Франсуа Рабле в серии «Библиотека всемирной литературы».

По всей видимости, оставила она ее на скамейке возле 302-й аудитории во время зимней сессии на своем факультете режиссуры народных театров и массовых мероприятий, будучи в полуобморочном состоянии. В книге (а это был толстый том, таким убить можно) имелись: сам текст про Гаргантюа и Пантагрюэля в переводе Любимова, а также сложная и большая вводная статья, научные комментарии, красивая суперобложка и милые картинки внутри на двух цветных вкладках. Теперь, когда она думала обо всем этом, ей становилось физически нехорошо.

Шульцбергер сразу узнала, что на черном рынке такая книга стоит «от шестидесяти рублей». Но в принципе купить можно. Просто надо быть готовым к тому, что попросят все восемьдесят. И тогда нужно торговаться. Ну как торговаться, вот просто твердо сказать: извините, но таких денег у меня нет, резко повернуться и решительно идти к метро. И вот тогда они могут догнать и предложить семьдесят, и можно будет спустить сначала до шестидесяти пяти, а потом и до шестидесяти.

Все эти советы она выслушала по телефону, сухо сказала в ответ «спасибо» и медленно положила трубку. Потом к горлу подступила волна, и Лена, долго ей сопротивляясь, пила воду, стакан за стаканом, а затем наконец начала рыдать. Рыдала она больше часа, пока не заснула.

Лена получала на работе семьдесят рублей в месяц, да еще с вычетами, и о каких шестидесяти-восемьдесят рубл^{ей} можно было вообще говорить?... Откуда взять такую сумму *на одну книгу*?... Она просто не представляла себе.

Она вообще не знала до этого момента, что такая книга может стоить восемьдесят рублей (не букинистическая, не дореволюционная, не манускрипт средних веков, просто книга из подписного издания номиналом три рубля сорок пять копеек).

Ну хорошо, «Мастер и Маргарита», знаменитый черный томик Ахматовой или синий Пастернака в «Большой библиотеке поэта», предположим, да, теоретически, мог стоить – на черном рынке и восемьдесят, и сто, это она понимала, но это был предмет культа, драгоценность, бриллиант в домашней библиотеке, но почему Рабле, автор-гуманист эпохи Возрождения? Ну извините, ну пятнадцать. Ну хорошо, двадцать. Ну ладно, двадцать пять. Это еще можно как-то собрать, одолжить...

Однако ей называли именно такую цифру.

Вдруг Лена подумала – а может, это шутка? Или ее просто разыгрывают?

Она снова набрала знакомый номер и спросила:

– Валер, а это точно? Ну, я имею в виду, вот все эти цифры...

Эти данные Шульцбергер получила от Валеры Семеняки, парня из далекой деревни в Харьковской области, который очень рано почувствовал необыкновенную любовь к книгам (не к каким-то конкретным, а к книгам вообще) и переехал в Москву, чтобы заняться ими по-настоящему.

Про книги он знал буквально все и порой, в дни наиболее удачных сделок, бывал сказочно богат, водил девушек в кафе «Молодежное» на улице Горького и поил их шампанским. Это был целый ритуал. Они называли это «день книголюба».

– Лен, ну что я тебя, обманывать, что ли, буду? – обиженно пробасил Семеняка и снова стал объяснять про рыночную стоимость и про то, что торговаться – это не стыдно, а наоборот, таким образом ты даешь продавцу почувствовать свое уважение.

Лена снова повесила трубку и долго смотрела перед собой, на портрет Есенина, висевший на стене с голубенькими обоями.

И потом уже позвонила мне.

Мы дружили с Шульцбергер полтора года, с тех пор как встретились на закрытом просмотре фильма Тарковского «Зеркало» во ВГИКе (как мы туда попали, я уже и не помню). С ней было всегда интересно, но как только она ощущала какие-то неправильные посылы с моей стороны, то тут же надувалась и становилась очень сварливой.

Не то чтобы я чего-то терпеливо ждал, просто не хотелось ничего менять. С ней было уютно и весело временами. Да и встречались мы не то чтобы очень часто – это совершенно не утомляло.

Но в тот день она задала вопрос, который явно не вписывался в наши отношения.

– Послушай... – сказала она, тяжело дыша. – А ты можешь меня спасти?

– Господи, да что с тобой случилось?

– Понимаешь... я потеряла книгу, – сказала она, и тогда я непроизвольно расхохотался.

Как оказалось, я тоже имел отношение к этой истории, потому что книгу она брала у моего друга Сени, когда мы были у него на дне рождения.

Сеня был очень милый, добродушный, серьезный и положительный мальчик из МАИ, с которым мы шесть лет учились в одном классе.

Он торжественно подвел нас к отцовской библиотеке и указал на полный комплект «всемирки».

– Видите? – сказал он. – Вчера получили последний том.

Исландские саги, Песня о Роланде... Сервантес.

Сеня проводил пальцами по глянцевым корешкам суперобложек, и на лице его отражалось физическое наслаждение.

– Ой! – вдруг сказала Лена Шульцбергер, которая впервые на моей памяти выпила два бокала красного вина и сильно захмелела. – А мне как раз очень нужен Рабле!

По добрейшему лицу Сени пробежала легкая тень.

– Да? Действительно? – переспросил он. – Но только, Леночка, ты верни в полной сохранности, пожалуйста. Лучше, кстати, дома суперобложку снять. А то в сумке растреплется. И обернуть в бумагу или в газету. Вот. Ну и, конечно, не потеряй. А на сколько ты возьмешь?

Отступать было поздно, и Ленка затараторила, что всего на две-три недели, пока не сдаст зарубежку, а то в факультетской библиотеке есть только в старом переводе Пяста, а им в старом переводе Пяста читать не велели, там с купюрами, и что она, конечно, обязательно вернет в целости и сохранности, будет сдывать пылинки, и вообще она так благодарна, что даже не знает, как выразить свою благодарность, что прозвучало уже почти неприлично. Сеня хмыкнул и сказал, что сейчас запишет на карточку – все книги, которые он давал читать, записывались им на специальные карточки: кому дал, на сколько и специальные примечания – «для сдачи экзамена», например, это он записал по поводу Шульцбергер и, расставаясь с книгой, любовно погладил по обложке, заглянул внутрь и, удовлетворенный, вручил том Рабле пьяной девушке, как кольцо с бриллиантом.

Все это настолько мне не понравилось уже тогда, во время дня рождения, что я хотел сказать Ленке, что лучше бы она передумала.

Но она делала все это с такой очаровательной дурацкой манерой девушки, которая попробовала алкоголь чуть ли не впервые в жизни, что я быстро обо всем забыл, да и сам, честно говоря, был в очень хорошем настроении, мне казалось совершенно очевидным, что она пошла в гости со мной к моим друзьям, как моя девушка, и это требовало осмысления, да бог с ней, с этой книгой, нет, все в этот вечер получилось удачно...

И я, разумеется, забыл про свои дурацкие опасения, а через три дня она позвонила и страшным голосом рассказала всю эту историю.

Я встретился с Семенякой и спросил, какие могут быть вообще варианты. Ну в принципе. Теоретически.

– А никаких, – лениво ответил он. – Ну, если б это была «Песня о Роланде». Или какой-нибудь том, знаешь, типа: «Николай Некрасов. Поэмы», тогда да. Двугривенный, и все дела. И замену можно найти. Но Рабле...

– А что в нем такого, в этом Рабле? – разозлился я. – В этом Гаргантюа и Пантагрюэле?

– Сам не понимаешь? – угрюмо спросил меня Семеняка.

Я упорно пожал плечами.

– Ну они же там это... сношаются, – сказал он с мягкой украинской улыбкой. – Какают, писают, жрут... И все это весело, а не стыдно. И все на благо человека, все во имя человека. Как в программе партии. Где еще такие книжки есть, где их издают? Только на английском языке, наверное.

Ну странно, по-прежнему отказывался верить я, как будто сам Семеняка мог скостить цену, в романе Анатолия Иванова «Тени исчезают в полдень» тоже много сексуальных сцен. Нет, это другое, поморщился Семеняка. Это совсем другое, это советский стиль, инда взопрело и все такое. Это тоже ценится, конечно, я за Иванова бы отдал, наверное, четвертак, а то и тридцатку. Но это другое. Да ты почитай Бахтина, сказал он, там все написано. Карнавальная культура, все такое. Могу дать, у меня есть. Потом он предложил пойти выпить кофе.

Мы пошли в факультетский буфет, встали за круглые столики и стали медленно тянуть кофейный напиток «Свежесть».

– Да, я помню, – сказал я, – карнавальная культура, все дела, но слушай, Валер, мне девушку надо спасти.

– А чего спасать-то? – удивился он. – Просто не звоните ему, и все, этому Сене. Может, забудет.

– Да нет, Сеня все на карточки записывает...

– Ах это, – Валера улыбнулся с понимающим выражением лица. – Ну скажи, украли. Сумку вырвали. Хулиганы, бандиты. То, се.

– Это нехорошо, – сказал я и набухал в напиток «Свежесть» четыре ложки сахара, иначе пить было невозможно. – Беду накликаешь. И потом, ты знаешь, вроде логично идти в отказ, но это будет хуже. Сейчас цель – избавить девушку от мучений. Предложить план. А вот таким образом мы ей этих мучений только добавляем. Она не умеет врать. Она хорошая.

– Понятно, – задумчиво сказал Семеняка. – Непростая ситуация.

Шульцбергер между тем звонила мне каждый вечер.

– Ты обещал меня спасти, – твердо говорила она. – Помнишь?

– Спасу, – говорил я. – Не дрейфь. Все будет хорошо.

– А что ты делаешь для моего спасения? – настаивала она. – Какой у тебя есть план?

– У меня есть план А, – говорил я.

– А план Б? – продолжала настаивать она.

В ее голосе ощущался легкий нервический смешок.

А мне, честно говоря, было совершенно не до смеха.

В Шульцбергер как будто вселился какой-то демон. Она нашла центральную городскую библиотеку, где такой же Рабле находился в свободном доступе, и ходила туда каждый день по вечерам (библиотека работала до восьми). Она вынашивала план похищения (!), изучала расположение залов, коридоров, книжного хранилища и еще обсуждала все это безумие со мной.

– Но ты послушай, – говорила она по телефону задуманным голосом. – Смотри, ты приходишь, записываешься, мы вместе сидим, занимаемся, часов до семи, потом ты, предположим, падаешь на пол и изображаешь, что у тебя эпилептический припадок, ну знаешь, как

у Достоевского, стиральный порошок я тебе дам, напихаешь перед этим в рот, начнешь биться, пускать слюни, они все станут орать, тебя откачивать, вызывать милицию, в этот момент я тихо проскользну в хранилище, возьму книгу и убегу, а ты тоже потом...

– Что?

– Встанешь и убежишь.

– Но ведь нас найдут и посадят в тюрьму.

– За Франсуа Рабле?

– Какая чушь, – говорил я. Мне и самому становилось страшно. Грабить учреждение культуры я был как-то совершенно не готов.

Тогда Лена стала много говорить о творчестве Рабле, великого французского гуманиста. Ты знаешь, я поняла, что он великий гуманист, говорила она, как будто находясь в легком бреду или под действием легких наркотиков, вот все эти пиписьки, пуканье, сплошное и бесконечное пуканье, это все очень поэтично, переваривание, пищеварение, другие физиологические отправления, ведь тогда все были очень набожные, да? – это же было невозможно, говорить в книге о таких вещах, да и вообще этот праздник человеческого тела, я все понимаю, но читать мне это неприятно, знаешь, самое обидное, что мне по-прежнему неприятно все это читать... Я сижу, читаю, читаю, как дура, и плачу, начинаю рыдать с любого места, как будто это мелодрама или роман Этель Лилян Войнич «Овод», сцена казни. Ужасно.

Причем все это в устаревшем переводе Пяста.

Наконец она уговорила меня подойти к зданию центральной городской библиотеки имени Некрасова в момент закрытия. Мы должны были изучить, когда ее закрывают и ставят на сигнализацию.

Стоял чудесный октябрьский вечер.

Я до сих пор хорошо помню эту советскую Москву перед наступлением заморозков – когда сгущается вечером воздух и в нем висит последнее тепло, мягкий свет падает с багрового, какого-то невероятно зловещего неба, и скользят по улице Горького усталые машины, черные «Волги», «Жигули», грузовики, накрытые брезентом, а у тебя сердце сжимается от непонятной боли.

Такими вечерами я мог ходить по городу пешком сколько угодно, часами, а тут приходилось стоять и мерзнуть с Шульцбергер, которая сошла с ума.

Наконец я уговорил ее сделать перерыв и зайти в кафе «Лира».

Никогда никаких девушек я не водил ни в какое кафе «Лира», там было нереально дорого и противно.

Но в данном случае было необходимо хоть что-то придумать.

На втором этаже кафе «Лира» было страшно накурено и почему-то совершенно пусто, как будто какая-то пьяная компания ушла отсюда только что. Подошел хмурый официант и внимательно на меня посмотрел, объявив, что из горячих блюд есть только ромштекс, а из спиртных напитков – коньяк.

– Я не могу коньяк, – растерянно шепнула Шульцбергер.

Мне показалось, что официант хочет, чтобы мы как можно скорей покинули заведение.

– А коктейли у вас есть? – спросил я.

– Есть, – неохотно подтвердил официант. – «Полярное сияние», «Звездопад», «Ласточка». Вы какой предпочитаете?

Тогда я заказал «Полярное сияние», это была смесь шампанского с ликером шартрез.

Шульцбергер я решил его на всякий случай не давать.

Она смотрела на меня молча, готовая в любую минуту разрыдаться.

– Что же делать? – прошептала она громко.

Я выпил залпом «Полярное сияние», и вдруг сразу стало так хорошо, что я даже удивился.

– Лена, – сказал я, – на самом деле горькая правда состоит в том, что плана Б у меня нет, надо реализовывать план А. Он очень простой: мы подарим Сене хорошую дорогую книгу, но не очень дорогую, а просто хорошую, и во всем ему признаемся, как наш друг он должен понять и простить, это будет, как визит к зубному врачу, но если ты настроишься и перестанешь трястись, я тебе помогу и все будет хорошо. Все равно я должен в этом участвовать, потому что с меня все началось, ты не одна в этом мире, и уж тем более это не самая важная проблема в твоей жизни, поэтому давай гулять по бульварам и представлять, как мы будем говорить с Сеней, и даже веселиться. Это будет весело, правда, – уныло добавил я, потому что на ее лице появилось выражение, которое я давно изучил.

Это было выражение тупого еврейского упорства.

– Нет, – твердо сказала она, – я хочу ограбить библиотеку.

– Ладно, – решительно сказал я.

Мы расплатились и вышли из кафе «Лира», чтобы больше никогда туда не возвращаться. Мы стояли напротив библиотеки Некрасова и изучали лица выходящих из нее последних посетителей. Вечер сгустился, настала осенняя холодная ночь, зажглись фонари, из подъезда вышел служитель и странно на нас посмотрел, но нам было все равно, мы ржали во весь голос, представляя себе ограбление библиотеки.

Станным образом мой коктейль «Полярное сияние» оказался внутри Шульцбергер, хотя она его даже не попробовала. Она хохотала как дурная, а потом резко остановилась, сказав: «Пошли!»

Мы подошли к библиотеке со двора, Лена нащупала на земле здоровый обломок кирпича, выбрала окно и замахнулась всерьез. Мне пришлось принять решительные меры, я взял ее за руку с кирпичом, другой прижал к себе и поцеловал в губы.

Кирпич упал мне на ногу, стало очень больно, она плакала и смеялась одновременно, потом опять надулась.

– Неужели ты думаешь, – прошипела она, – что я все это придумала, чтобы тебя соблазнить? Ты ошибаешься, дорогой мой, я просто потеряла книгу, и меня это мучает...

– Меня тоже, – сказал я, и мы расстались в тот вечер.

Я начал медленно обзванивать знакомых. Книги, с которыми люди могли расстаться (о том, чтобы продать по черному курсу, не было даже речи), были все очень разные, иногда даже просто хорошие: например, мне предлагали Ремарка, «Три товарища», в хорошем, качественном, не макулатурном варианте, предлагали Апдайк, «Кролик» и «Кентавр» в одном томе, предлагали Луи Буссенара, дореволюционный справочник по гинекологии, Хемингуэя – «Праздник, который всегда с тобой» и «Прощай, оружие», один парень предложил три тома из собрания сочинений Сталина, предлагали очень старые издания Аксенова и четырехтомник Есенина без одного (последнего) тома, но «там, правда, только проза, письма, это все равно никому не нужно», я все записывал и обещал перезвонить.

Прошла неделя, а потом другая. Решение не находилось.

Однажды я от нечего делать взял с полки своего Рабле в переводе Пяста, это была очень старая, разорванная по мягкому тканевому корешку книга с очень смешными иллюстрациями и с черно-белой, уклончивой, но ясно намекающей на суть дела графикой.

Понятно, что это была книжка старая, в плохом состоянии, не имеющая никакой рыночной цены, изданная в «Детгизе», текст с купюрами, все самое интересное пропущено, но зато

мы меняем одного Рабле на другого, в этом есть хоть какой-то смысл! Неожиданно я понял, что это единственный вариант.

Я приехал к Шульцбергер и начал тихо ее уговаривать.

– Это невозможно, – кричала она, – это неприлично, это выглядит так, как будто мы украли у него книгу, я со стыда сгорю, неужели ты не понимаешь?

Шульцбергер была настолько чиста и настолько щепетильна, что раньше я даже не мог себе представить этой проблемы в полном объеме.

– Лена, – сказал я осторожно, – скажи, пожалуйста, ну а вот если бы, предположим, тебе бы очень захотелось писать, ты бы смогла зайти в кусты, ну где-то вот во дворе или в скверике в нашем?

Она медленно покраснела.

– Наверное, нет, – печально сказала она.

– Ну и что бы ты делала?

– Наверное, умерла бы...

Она смотрела на меня так ясно и прямо, что я начал медленно краснеть. Мне стало ужасно стыдно – и за этот кирпичный поцелуй, и за то, что вот уже целую неделю я думаю о том, как буду лежать в ее постели и думать о прочитанных книгах, но, как оказалось, ничего этого не будет и быть не может.

– Помоги мне, пожалуйста, – прошептала она.

Сеня встретил нас с неприятным лицом. Казалось, что он все уже понял. Но вообще-то это чужая собственность, прошептал он мне в коридоре громким недовольным шепотом.

Да, прошептал я в ответ, но это удивительная девушка, она очень переживает.

Сеня задумался.

Он долго поил нас чаем, вертел в руках Рабле в переводе Пяста и наконец сказал с облегчением: ну ладно, я скажу папе, что вас ограбили, – и вдруг легко, радостно засмеялся.

На улице Шульцбергер прижалась ко мне плечом, крепко взяла за руку и поцеловала в щеку.

Лена, сказал я, как жаль.

Мне тоже, сказала она.

Рабле я иногда перечитываю...

Я не знаю, честно говоря, почему эти книги – тогда – так дорого стоили. Что в них было такого, что люди отдавали за них жизнь, честь и целое состояние.

Но память о том, как это было, кажется мне достойной того, чтобы ее сохранить. Хотя бы ради Лены Шульцбергер и соленого вкуса ее губ.

Очки

Это началось летом. А кончилось осенью.

Мне тогда было шестнадцать, а ей двадцать четыре. Конечно, именно эта разница поднимала наши отношения на какую-то небывалую высоту.

Мы много гуляли, разговаривали, звонили друг другу по телефону, иногда целовались. Все было хорошо.

С другой стороны, и для меня, и для нее все это было не очень просто. Именно в силу цифр, которые тогда казались пугающими. Она, например, очень боялась, что если моя мама что-то узнает, то обязательно позвонит или напишет жалобу в партком, и тогда ее обязательно исключат из партии (она была членом партии), уволят с работы и посадят в тюрьму, где она будет выпускать стенгазету.

Не раз я представлял себе, как секретарь парткома, суровый лысый мужчина в очках, в клетчатом пиджаке и с усталым лицом, вызывает ее к себе в кабинет, просит сесть, она ничего не понимает, он придвигает ей письмо через полированный стол и говорит сухо и коротко: прочтите, Светлана Игоревна. И тут она начинает рыдать.

Каждый раз, когда я брал ее за руку или прижимал к себе, она шептала мне: ты помнишь, о чем я тебя просила?

Имелось в виду – никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах ничего не говорить моей маме.

Этот шепот дико возбуждал, не по содержанию, а по форме (губы прижимались к моему уху, громкий шепот, короткий смешок), но я послушно кивал – да, да, не бойся.

Этот ее страх был для меня совершенно загадочным. Ну во-первых, с какой стати я должен был говорить *об этом* маме? Во-вторых, с моей точки зрения, мама ни за что не позвонила бы в партком. Моя мама вовсе не была членом партии. Скорее, моя мама даже обрадовалась бы таким обстоятельствам.

Но и мне тоже было иногда страшно. Многое непонятно. Очень важные вопросы так и оставались без ответа.

Могу ли я, например, обнимать ее на улице? Стоять с ней в подъезде? Целоваться в метро? Я не знал, что и кому я должен про нее говорить.

Непонятно, впрочем, было и многое другое.

Например, у нее слишком часто менялось настроение. Иногда она неожиданно плакала. Иногда вдруг бурно веселилась и сильно смущала меня этим.

Кроме того, она слишком много работала. Писала по ночам очень длинные и с моей точки зрения немного тяжеловесные статьи. А днем ходила на службу.

Все это время, с начала лета и до конца осени, я знал про нее буквально все. Я знал ее расписание на завтра и даже на послезавтра. Знал, где живет ее первый муж и где живет второй муж, и примерно представлял, где живет третий, хотя мимо вот именно этого дома меня никогда не водили, он был какой-то невесомый, ненадежный, несуществующий – и дом, и муж. Я знал темы всех ее статей и читал их в рукописи. Я ходил вместе с ней на интервью, дожидаясь в подъезде. Час, два, три, не имело значения. Я знал, когда она уезжает в командировку и когда возвращается, сколько денег ей выдали в бухгалтерии, и сколько она должна, и сколько останется до полочки. Я знал тему ее очередного партсобраний. Вместе с ней я забирал рукопись у автора, осенние туфли из ремонта, посылку с грецкими орехами и вареньем от мамы с Киевского вокзала, вместе с ней отдавал прочитанные книги, забывал зонтик и возвращался за ним обратно в редакцию в дождливый день. А дождливых дней становилось все больше и больше.

Я еще не знал тогда, что это станет моей кармой. Все последующие за ней девушки – словно повинувшись той, самой первой, матрице – станут таскать меня за собой повсюду. Как чемодан без ручки, который носить неудобно, а выбросить жалко. Сколько часов я провел в этих бесконечных бессмысленных перемещениях из точки А в точку Б, знакомясь с незнакомцами, сопровождая несуществующие отношения и переживая внутри себя нелепые страсти.

Однажды она как-то пошла к своей преподавательнице по немецкому языку, «просто попить чайку», как она сказала. Я намекнул, что готов подождать ее. «Не знаю, – сухо ответила она. – Это займет не меньше часа сорока пяти минут». По всей видимости, она, кроме благородной цели навестить старушку, решила взять у нее еще один урок или даже целый курс, хотя давно закончила институт. Я пожал плечами. Дверь хлопнула, и я остался один в подъезде.

...Это был старый дом у Патриарших прудов.

У меня не было книжки, и я начал просто смотреть в окно. Окно выходило во двор. Сырой синеватый вечер тяжело опускался на Москву. Было довольно холодно, там, на улице. Я прижался лбом к оконному стеклу. И поджал колени к подбородку.

Это и была та грусть, от которой невозможно избавиться никогда. Придя однажды, она уже не уходит.

Вместо того чтобы спокойно лежать на чьем-то диване в одних носках и курить, я сидел тут, в пустом подъезде, на подоконнике, понимая всю нелепость этого занятия. Но оно меня увлекало.

Я смотрел, как сгущается воздух. Как дети чертят мелом на асфальте разные фигуры. Как зажигаются окна. Я хотел, чтобы она удивилась, увидев меня тут вновь.

Она снимала однокомнатную квартиру в северном районе Москвы. У черта на рогах. Туда можно было добраться только на автобусе от «Белорусской». До ее остановки автобус ехал двадцать пять минут. Плюс ожидание. Плюс давка. Обратное к метро ехать тоже было не особенно приятно. Тем более поздней осенью.

Москва в ту пору была довольно темным городом. Иногда, конечно, маячили какие-то слабо освещенные буквы: «Слава КПСС», или «Навстречу Великому Октябрю», или «Мир. Труд. Май». Но слишком много электроэнергии на эту ерунду тогда никто не тратил. Многие лампочки были неисправны, и содержание слов становилось загадочным и даже мистическим. Лампочки мигали в ночи как бы сами по себе, отдельно от смысла. Никаких сияющих во тьме огромных реклам, никаких огромных источников искусственного света – торговых центров, или крытых рынков, или платных парковок – еще просто не существовало.

Слабый свет в салоне одинокого автобуса порой был единственным подвижным огоньком на всей улице, не считая фонарей, которые горели совсем уж тускло.

В небе над Москвой еще можно было увидеть звезды.

В такое позднее время из темноты внезапно выдвигались совсем неожиданные лица. Граждане заходили в автобус и настороженно озирались.

Чаще всего это были просто усталые люди. Иногда люди, ищущие приключений по пьяному делу. Иногда – довольно одинокие в этом темном городе парочки.

На последних я смотрел с затаенной завистью. Они ласково прижимались друг к другу. Им было доступно то, что не было доступно мне. Для них было просто и понятно то, что было сложно и загадочно для меня.

Например, я никогда не мог пригласить ее в кино. Это было совсем, ну никак невозможно.

– А как ты себе это представляешь? – спрашивала она. – Идет взрослая тетя с таким малышом, и плюс к тому он еще все время к ней пристает.

– Ну а если я, предположим, твой брат? – тупо спрашивал я.

– Нет, знаешь, наших людей на такой мякине не проведешь! – вспыхивала она. А потом вдруг, сменив интонацию, жалобно просила: – Не мучай меня, ладно?

Домой она меня к себе не пускала. Как правило.

Мы часами гуляли на ее скучном бульваре имени какого-то великого советского генерала, сидели на скамейках, покупали хлеб в магазине, а если приходили вечером гости, то она посылала меня за вином – стоять в очереди вместе с алкоголиками.

Один раз даже послала сдавать белье в прачечную.

Но постепенно дни становились холоднее, и ей пришлось изменить политику.

Она стала читать мне свои статьи вслух.

Вообще для нее это был необычайно важный момент. Он был важнее всех ее мужей, важней подруг и друзей, и уж конечно важней меня, иногда важней настроения и здоровья, а иногда даже важней коммунизма – в который она верила как в торжество нравственного самосовершенствования и большой духовной работы (а не как в лозунги очередного съезда партии).

...Она очень хотела писать большие статьи в газету.

И она писала их, исступленно, по ночам, потому что днем она работала референтом в том же отделе, в котором хотела стать «разъездным» корреспондентом, а вечером у нее были дела, и одним из этих дел обязательно был я.

Поэтому, когда дни стали холоднее и я стал чаще попадать в ее однокомнатную квартиру, она начала использовать меня как первого слушателя. Вряд ли ей было важно именно мое мнение, но читать свои статьи вслух она считала необходимым. Вернее, фрагменты статей. Она проверяла эти фрагменты на слух.

Она так и писала – фрагментами, заполняя серые или желтые страницы писчей бумаги, которую я носил из редакции целыми тяжелыми сумками, – писала огромными замысловатыми каракулями. Каждый такой фрагмент был по десять-двадцать страниц. Потом из него получался абзац, ну или два абзаца.

Я, например, хорошо помню фрагмент про участкового милиционера. Этот милиционер взял шефство над девочкой из своего микрорайона, когда она сбежала из дома и стала ночевать в подвалах.

Это была хорошая девочка, которая даже писала стихи, но она больше не могла видеть свою пьяную мать, или пьяного отца, а может быть их обоих вместе, и вообще эта девочка была романтиком и стремилась к свободе, поэтому в школу ходить перестала, но участковый милиционер быстро ее нашел и буквально спас от хулиганов, от жизни в подвалах и от падения в пропасть. Он ходил вместе с ней по всем предприятиям своего микрорайона: столовым, прачечным, заводам и фабрикам, ателье и комбинатам бытового обслуживания – и устраивал ее на работу. Бюрократы устраивать на работу эту несовершеннолетнюю девочку не хотели, но участковый милиционер упорно обращался в партийные организации и комитеты комсомола, даже *дошел до райкома*, писал письма (вот так одно из писем попало в редакцию), он был, безусловно, человеком коммунистического будущего, хотя при этом довольно простым парнем, и наконец его стали подозревать в том, что его мотивы не совсем чисты, сначала на него написали анонимку, потом уволили, потом восстановили через суд, потом он уволился сам, и вот теперь они часто встречались и разговаривали – этот милиционер и эта девочка.

– Послушай! – сказала она и подняла на меня глаза поверх очков.

Ее глаза в этот момент сверкали. Эти рабочие, «домашние» очки были совершенно простые, обычные, как мне казалось, в такой тонкой железной оправе, но на самом деле они были тоже остро модные и заказать такую оправу можно было только по блату, в специальной блатной «Оптике» на Нижней Масловке, но об этом я узнал позднее, уже от другой девушки, а тогда я этого не знал и просто отметил про себя, что лицо ее в этих очках становится совершенно

другим, более ясным и отчетливым, прорисованным и тонким, я лучше могу ее рассмотреть, и от этого пристального рассматривания мне становится жарко и душно.

– Послушай! – говорила она, подняв руку вверх и не отрывая глаз от написанного. – Только вот этот кусочек.

Слова звучали как музыка. Я слушал эту историю про одинокого милиционера, про одинокую девочку, и мне становилось тепло и светло.

– Но чего-то не хватает. Чего-то не хватает.

– А чего? – недоумевал я.

– Нужен какой-то ударный момент.

– Ты думаешь?

– Ну вот послушай... «Осень. Хлещет холодный дождь. Мокрые листья прилипают к асфальту. Кажется, что в это время года все одинокие люди еще более одиноки, чем всегда. Но я знаю, что где-то там живет человек, который ждет меня у окна, читая книгу под лампой с зеленым абажуром...»

Я выходил на улицу с горящим лицом и некоторое время просто стоял, вглядываясь в темноту.

Однажды она читала мне даже тезисы своего выступления на открытом партийном собрании. Ее попросили выступить как молодого коммуниста. Остро и неожиданно.

– Ну послушай! – сказала она и подняла руку. – «Для нас, молодых коммунистов, это не просто красивая идея, абстрактная мечта, не просто система взглядов или научная теория. Коммунизм – это прежде всего тот нравственный идеал...»

Однажды во время чтения я просто снял с нее очки и привлек к себе.

Она этого совершенно не ожидала.

– Положи куда-нибудь, чтобы не разбились, – прошептала она.

И я положил их в нагрудный карман куртки. Была у меня такая синяя куртка от индийского джинсового костюма.

Куртку я потом снял.

– Выключи свет, я тебя стесняюсь, – прошептала она.

С улицы в однокомнатную квартиру проникал слабый свет фонарей.

Потом я снял рубашку.

– От твоей кожи пахнет парным молоком, как от тельца, – насмешливо прошептала она.

Я пожал плечами.

Резко зазвонил телефон. Она вскочила с кровати и зашлепала босыми ногами по полу. Я вежливо закрыл глаза.

Она долго сидела на стуле и разговаривала, завернувшись в занавеску.

Потом положила трубку и глухо сказала:

– Тебе пора домой. Слышишь? Мне надо работать.

Я быстро оделся, попрощался и тихо закрыл за собой дверь. Она уже сидела за столом и писала. А может быть, только делала вид...

Уже войдя в метро, бросив пятак и спустившись по эскалатору, я зачем-то сунул руку в нагрудный карман куртки.

Остановился. Минуту подумал и поехал назад.

Я не мог оставить эти очки у себя. Даже до завтра. Не из-за мамы. Какая ерунда. Нет, я просто знал, что она всю ночь будет писать статью.

Я хотел вернуться, но только из-за очков.

Было часов восемь. Я прикинул – полчаса туда. Потом обратно еще час. Нормально, успею даже до одиннадцати.

В ту пору я иногда приходил домой под утро, и ничего, как-то жил.

Иногда она спрашивала меня:

– Слушай, а у тебя же, наверное, есть домашние задания, уроки какие-то... Когда ты все это успеваешь?

Я ответил, что не успеваю.

– Ну и ладно! – весело отмахнулась она. – Подготовишься экстерном. Сейчас все так делают. Нынешняя школа слишком консервативна. В ней не учат мыслить. А тебе это совершенно необходимо.

– Почему? – удивился я.

– Ну ты иногда бываешь, знаешь... слишком прямолинейным, – засмеялась она чему-то своему.

В общем, путь предстоял не близкий. Туда, обратно. А сколько еще там? – задумался я.

Умные люди всегда ходили с книгой, а я нет. У меня не было удобной сумки или рюкзака, куда можно было бы положить книгу, поэтому, шляясь, я вечно придумывал разные истории, воображал себе невесту что. Как ни странно, я довольно часто ощущал себя (в этих фантазиях) в ситуации «последнего слова», то есть в моей туманной голове не возникало четкого сюжета, а возникал лишь последний, то есть *самый последний момент*, как бы перед смертью, или перед казнью, или перед выходом в открытый космос, или перед последним боем, когда я должен попрощаться со всем миром и вообще как-то кому-то объяснить, что я об этом обо всем думаю.

Почему я должен был так рано умереть, мне было неизвестно, но «последнее слово» складывалось в голове легко и незаметно.

«Я уйду, – думал я в автобусе, пытаюсь протиснуться куда-то ближе к середине, – я уйду, чтобы вам всем, оставшимся, жилось светлее и, может быть, легче. Я уйду не с тяжелым чувством своей ненужности, нет. Я уйду, чтобы когда-нибудь вернуться...»

Прижавшись горячим лицом к стеклу, я повторял про себя эту чушь и пытался понять, где же сюжет, который объяснит мне смысл «последнего слова», и почему оно так важно, и кто его слушает.

Вдоль московских улиц стояли деревья.

Их было много. Везде.

Желтые листья, которые вскоре должны были облететь, падали на крышу автобуса, на асфальт, на тротуар. Город двигался мне навстречу, темнея. Я ехал к ней, чтобы отдать очки.

Войдя в знакомый двор, я остановился.

Что делать дальше, я не знал, вернее плохо себе представлял. Как вежливый человек я не хотел возвращаться после того, как меня попросили уйти.

Кроме того, я боялся, что буду неправильно понят. Да и сам я боялся что-то неправильно понять.

Честно говоря, мне хотелось оставить все как есть. Ровно в том же положении, в каком мы расстались.

Мне не хотелось продвигаться дальше. Я смутно понимал, что она этого тоже не очень хочет.

Тем не менее очки должны были быть возвращены.

Я подпрыгнул и сорвал с дерева кисть красной рябины. В темнеющем дворе пацаны играли в «собачку». Двое бросали мяч друг другу, а один пытался его поймать.

Я схватил одного малого за рукав, когда он побежал за мячом в кусты. У него было испуганное лицо, когда я взял его за плечо. Я ведь был большой взрослый парень.

- Знаешь двенадцатую квартиру? – просто спросил я.
- Да, – честно ответил малый.
- Отдашь? – и я сунул ему гроздь рябины вместе с очками.
- Отдам! – заорал он и понесся в ее подъезд.

Я еще постоял за углом, посмотрел, как он выходит обратно. Выходил он пустой. Ну то есть без очков.

– Ну как? Ты удивилась? – спросил я ее, позвонив ночью из-под одеяла, чтобы мама не слышала.

– Ужасно, – почти заплакала она.

– Что ужасно? – удивился я.

– Я была в старых разбитых очках, с одним стеклом... В каком-то ужасном халате. Взрослая тетка. Представляешь, что он подумал?

– Кто? – не понял я.

– Ну кто, твой мальчик! Кто-кто... Дед Пихто! – не выдержала она и повесила трубку.

...Когда это все-таки случилось и я добился своего, она спросила меня:

– Ну что, ты доволен? Ты выполнил то, что хотел?

Я не знал, что сказать. Кто знает, чего я хотел? Может быть, я хотел только произнести свое «последнее слово»? А может быть, я хотел стать настоящим коммунистом, не по форме, а по содержанию? А может быть, я хотел, чтобы эта осень длилась немного подольше, не как всегда? Ну хотя бы чуть-чуть...

Я надел рубашку и подошел к окну.

Это и была та грусть, от которой невозможно избавиться никогда. Придя однажды, она уже не уходит.

– Наверное, – тупо ответил я. – Наверное, да.

Платформа Турист

Танечка Милорадова (член ВЛКСМ с 1974 г., студентка заочного отделения Института культуры, армянка) никогда не увлекалась никаким пением вообще.

Она любила классическую музыку (Бетховен, сонаты № 14, 15, 27, 32 в исполнении Святослава Рихтера и Глена Гульда, «Багатели» того же автора, «Карнавал» Шумана, некоторые вещи Прокофьева и Скрябина в исполнении Софроницкого), она любила литературу (Цветаева, Ахматова, Пастернак, Илья Эренбург – «Хулио Хуренито» и другие ранние его вещи, Томас Манн – «Волшебная гора»), она любила красоту природы, хорошее вино, но когда некоторые ее друзья стали бесконечно брэнчать на гитаре и мычать эту песенную лирику, ей пришлось глубоко задуматься.

Все это, конечно, ей претило и было даже неприятно.

Ну Окуджава. Да и то, прямо скажем, далеко не все. «Из окон корочкой несет поджаристой» – это что, пародия на дворовые песни?

Ну кое-что из Галича, но его толком никто из них не знал и петь не умел.

Уже начиная с Визбора начинались вопросы. Все эти «Кожаные куртки» она просто на дух не переносила. Не говоря уж о таких современных хитах, как «Ежик резиновый с дырочкой в правом боку». Это было просто за пределами добра и зла.

Поэтому когда ей предложили идти на «кустовой слет КСП», она, конечно, сильно удивилась.

Но тут, правда, у противоборствующей стороны были свои сильные аргументы.

– У тебя же есть хорошая палатка, правильно? – сказала Ивлева по телефону.

– Ну и что? – сопротивлялась Танечка. – Она, во-первых, родительская. Еще неизвестно, отдадут ли они.

– Отдадут. Если ты пойдешь, то отдадут, – уверенно сказала Ивлева.

Было понятно, что на палатку у всей их компании большие виды.

– Ну а что же мне делать? – тревожно спросила Милорадова. – Ну если я не могу все это слушать? Мне это неинтересно, понимаешь?

– Давай так... – спокойно сказала Ивлева. – Если тебе не понравится, я побреюсь налысо. Кстати, давно хотела попробовать...

– Скажи, а что такое «кустовой слет»? – подумав, робко спросила Танечка. – И вообще где все это будет происходить?

– Наш куст называется «Разгуляй», – торопливо объяснила Ивлева. – Место для слета еще не выбрали. Я тебе позвоню!

И повесила трубку.

Танечка посидела с трубкой, которая издавала тревожные короткие гудки. Телефон стоял на особой белой тумбочке в коридоре, чтобы всем было удобно. Она сидела на стуле и долго, даже положив трубку на место, не хотела с него вставать.

Нужно было принимать какое-то решение.

Нельзя сказать, что ее мир был слишком герметичным. Ну скажем, она как-то ездила на «картошку», от работы. Долго тряслись по разбитым дорогам, приехали в какой-то колхоз под Егорьевском, собирали картошку в жестяные ведра, спина заболела, но, пожалуй, все это было весело. Потом жгли костер, мужчины пили водку, неприлично шутили, женщины хохотали, она была одета тепло, в резиновых сапогах шерстяные носки, под курткой свитер, на голове шапочка, на руках старые перчатки, максимум неудобства – это когда надо было пойти в кусты пописать, но тут женщины сообразили, договорились, куда идти, кто стоит на стреме, как-то все это совершенно было спокойно и легко, она тоже выпила белого кислого вина половину стакана, вдруг откуда ни возьмись появилось солнце, она посмотрела на это бесконечное поле,

на этот желтый лес, вспомнила стихи Пушкина, все это оказалось, в общем и целом, совсем неплохо. Ночевки, к счастью, никакой не предполагалось.

Или все эти субботники, открытые партсобрания – она работала в огромном научно-исследовательском институте, здесь такого добра было много, но все эти ритуалы были настолько проверены, даже тщательно выверены, что ни у кого не возникало вопросов: а зачем я здесь, что я здесь делаю? Всегда находились люди, которые четко все объясняли – работаем здесь два часа, эту хрень переносим оттуда сюда, а эту отсюда туда, сидим два часа, слушаем докладчика, выбираем президиум, голосуем за постановление, пропускать нельзя, чтобы не подвести Ивана Степановича, он хороший человек, а то кворума не будет.

И все было понятно!

...Ну а тут?

Вообще с этой поющей компанией ее познакомил мальчик Сережа Григорян, абсолютно русский армянин, который после этого внезапно от компании отвалился, оставив ее как бы в заложниках, а сам занялся чем-то совершенно другим – то ли йогой, то ли подпольным ивритом.

Но сказать «Нет, я к вам больше не приду» она почему-то никак не могла.

Здесь что-то ее держало, и вот теперь это непонятное «что-то» подвергалось большой, серьезной, фундаментальной проверке.

В компанию входило, наверное, человек десять. Хотя на квартире у Ивлевой (там была основная база) появлялись далеко не все сразу. Не было такого, чтобы эти люди собирались по обычным человеческим поводам – день рождения, Новый год, ноябрьские или майские праздники – как правило, в эти моменты все были как раз «на слете». А возвращаясь оттуда, всегда много рассказывали, хохотали, изображали в лицах, но эти рассказы Танечка совсем не любила, чувствовала себя чужой и всегда хотела пораньше уйти.

Очень часто они собирались по будням, звонили, например, и приглашали на вторник. Почему вторник, откуда вторник, кому удобно во вторник, она не понимала.

Как правило, говорили мало, в основном «распевались» или «репетировали», а проще сказать – бесконечно пели, пели хором, самые разные песни. Как человек может выучить столько песен, она не знала, это было неизвестное науке явление, но иногда Танечка даже пыталась подтягивать, иначе сидеть было скучно.

Наверное, в этом ее жалком «подтягивании» и было все дело, тут и располагалось это «что-то», чему теперь надлежало пройти проверку – потому что, попав один раз в эпицентр хорового пения, человек уже не мог оттуда выйти, в этом была какая-то магия – сидеть в центре звука, и она как культурный человек пыталась в этом разобраться.

Конечно, это было похоже на секту.

Да.

Но еще это были стихи и музыка. Может быть, не самые лучшие в мире стихи и не самая лучшая в мире музыка. Но иногда возникало такое пронзительное чувство, что она буквально сдерживалась, чтобы не расплакаться.

Ну и кроме того – Танечка не боялась себе в этом признаться – в этой компании (и прилегающих к ней кругах общения) были хорошие мальчики. Спокойные, доброжелательные, ироничные, разные по характеру, но какие-то симпатичные при любом варианте. Многие умели играть на гитаре, что тоже им шло. Мужчине вообще идет, когда он что-то делает руками, даже вот такое...

Ну и Ивлева.

Ивлева была очень резкой, но почему-то совсем Танечку не раздражала. Ее шутки Милорадову всегда смешили (ну вот как с этой идеей – постричься налысо), она умела интелли-

гентно ругаться матом, что Танечку просто завораживало, ну и многое другое. Ивлева умела быть «своим парнем», не теряя при этом присущего ей женского очарования.

Ивлева была какой-то машиной, производящей и сами события жизни, и необходимую для них энергию.

В Танечке все это пока не проснулось, и непонятно было, проснется или нет. Поэтому Ивлева была ее теоретическим курсом какой-то «другой жизни».

И вот теперь настала пора первого практического занятия.

Они приехали на станцию Турист днем – кажется, в час дня. На платформу высыпало сразу человек двести. Столько похожего, даже практически одинакового народу, да еще с гитарами, Танечка еще в жизни не видела. Пассажиры в электричке смотрели на них испуганно, просили громко не петь, кто-то попытался выставить их из вагона в тамбур, кто-то, наоборот, настойчиво лез знакомиться и общаться: какие, мол, хорошие ребята, не хулиганы.

В любом случае это была невероятно огромная толпа, которая Милорадову слегка пугала. Шли долго, растянувшись по проселку, как какая-то армия. Редкие проезжающие грузовики сигналили.

Небо между тем темнело и не предвещало ничего хорошего. Стояла вторая половина октября. Тревожное время, когда у Танечки всегда было не очень веселое настроение. «Куда я иду?» – спрашивала она себя и не могла найти ответа, ей было неудобно в сапогах, которые ей сразу натерли ноги, поскольку, кроме картошки, она ни разу их нигде не носила, а тут надо было пройти целых три километра, в этой неприятной брезентовой штормовке, от рюкзака болела спина, но главное, болело сердце, – словом, практические занятия пока не предвещали ничего хорошего.

Но постепенно она втянулась...

Большое небо в окрестностях платформы Турист, как писал поэт, «осенью дышало», но в этом не было привычного ей осеннего одиночества, ведь оно дышало для всех этих людей, которых становилось все больше и больше – колонна растянулась километра на два, а когда они наконец миновали перелесок и вышли к поляне, Танечка просто ахнула. Это было просто невероятно.

«Поляна» (так называла ее Ивлева) представляла собой гладкое, ровное как доска огромное поле с вытоптанной мелкой травой, с редким кустарником, а по обе стороны от поля поднимались небольшие пригорки, за одним из пригорков текла мелкая, спрятавшаяся в кустиках река, и все это пространство, на сколько было видно, оказалось усыпано людьми.

Люди ставили палатки, тянулись за водой с бидонами и ведрами, разжигали костры, сколачивали из бревен и досок сцену, уже, конечно, пели, настраивали гитары, она оглянулась – вокруг было несколько тысяч таких же, как она, ну или почти таких же, гавриков. По дороге ей попадались какие-то очень близкие, ну прямо до боли близкие лица, в некоторых девочках, растерянно и вместе с тем благодарно и восторженно бредущих в этой толпе, она почти узнавала собственное отражение, – то было переживание, равного которому она потом долгие годы не знала, а может, такого больше уже никогда и не было.

– Ладно, – командным голосом сказала Ивлева, – ставим палатку здесь, рядом со штабной. Танечка, пойдем за хворостом.

Ребята остановились, развернули ее палатку и начали вбивать колышки, она с интересом смотрела, как это делается, но Ивлева увлекла ее за собой. А ребята пошли рубить лапник – еловые ветки.

Лапник был, оказывается, нужен вовсе не для костра, костер будет общий, лапник был нужен, чтобы на нем спать! Это ее удивило.

– Как спать? – спросила она. – На земле, что ли?

– Ну а на чем? – засмеялась Ивлева. – Смешная ты, Танька. Конечно, на земле. Сверху лапник. Потом надувной матрас. Потом мешок. А ты как думала?

Она думала, что идет в цивилизованный поход, где все, в общем и целом, предусмотрено предыдущими поколениями людей, но оказалось, что «простудить придатки» или какие-то другие внутренние органы на слете КСП можно легко – если заранее не позаботиться о том, чтобы рядом с тобой оказались опытные туристы.

– Но тебе повезло! – на подъеме закончила Ивлева. – Рядом с тобой есть такие люди! Проблема-то в другом...

– В чем? – спросила Милорадова.

– Мои худшие предположения, к сожалению, подтвердились... – торжественно сказала Ивлева. – Он будет спать в нашей палатке.

– Кто? – опешив, спросила Таня.

– Леша Бирман, кто! – недовольно ответила Ивлева. – Я же тебе все рассказывала.

Действительно, с ее слов Таня знала о сложных переживаниях Бирмана по поводу его пассивности – красивой девушки Оли Семеновой, которая прекрасно играла на гитаре и пела сильным низким голосом («контральто», думала Милорадова про себя). Впрочем, прервала она ход своих мыслей, Бирман ей не настолько интересен.

– А что случилось-то?

– Ну я же тебе рассказывала... У них там все очень сложно...

– А что сложно-то?

– Ну что-то, я не знаю что, это их личное дело. Но спать он будет у нас! Такие были последние известия.

Пособирав таким образом хворост еще с полчаса и поговорив о нелегкой женской доле, они вернулись назад.

Слет был устроен следующим образом – большая сцена, где ночью ожидался основной концерт, и несколько малых, где «кустовые слеты» выдвигали своих лауреатов и представителей.

Радиофицирована была только одна, основная.

Кустовые сцены довольствовались «живым звуком». Звук и безо всякого усиления разносился по лесу хорошо, чисто, как будто они пели в церкви.

Бросили куртки, сели на траву. Мальчики услужливо принесли маленькие какие-то то ли доски, то ли пни, быстро сделали удобные сиденья.

Слушали всякие песни, Танечка сделала над собой усилие и вся превратилась в слух. Тут, на «Разгуляе», выступали какие-то знаменитые группы из МАИ, МИФИ, МФТИ (пели они, конечно, довольно красиво), подруга Ивлева по-прежнему была в большом возбуждении, здесь вообще все было очень ярко и необычно и совсем не то, чего она ожидала, тем не менее она никак не могла избавиться от мысли, что еще кто-то, кроме них с Ивлевой, будет ночью спать в их палатке.

Наконец, когда в «кустовом» концерте образовалась пауза, она неуверенно и тревожно задала свой главный вопрос – а как технически это возможно?

Ивлева засмеялась.

– Ну ты что, дура? Придет со своим спальником, завернется, вот и все. Будет храпеть – вилы в бок. А ты что, боишься, что тебя изнасилуют?

Она обиделась и замолчала.

Началась подготовка к большому концерту.

Они с Ивлевой пошли вдоль поляны, Ивлева искала знакомые лица, все время говорила: подожди, я сейчас, – и ненадолго исчезала. Кругом звенели гитары, орали незнакомые голоса, у Милорадовой совсем закружилась голова, и довольно скоро она почувствовала себя, как Пьер

Безухов в сцене Бородинского сражения. Невероятная однородность, пульсирующая энергия и странная взвинченная доброжелательность этой огромной массы людей ее завораживала, и голова кружилась все больше.

Наконец Ивлева нашла то, что искала, – «палатку с Вадимом Егоровым» – и повела ее слушать эту песенную знаменитость, но по дороге Танечка как-то отстала, затерялась и теперь стояла одна, не зная, что делать. Кто-то дернул ее за руку и повел к костру.

– Ты кто? – спросил ее весело какой-то бородатый парень в очках, свитере и огромных охотничьих сапогах.

– Я из «Разгуляя», – смиренно ответила она.

– А, конкуренты! Хочешь водки?

Она испуганно кивнула.

Все почему-то захохотали.

– Борь, ты давай осторожней, тут этот ходит, из райкома, выливают водку, слышь, – крикнул кто-то.

– Я ему вылью... – грозно сказал Боря, присел, охотничьи сапоги у него при этом смешно оттопырились, и начал как-то ласково нацеживать в граненый стакан мутную жидкость.

– Только учти, Разгуляй, это не водка, а самогон. Сначала выдохни.

Она послушно выдохнула, обожгла рот самогоном, после чего потеряла ориентацию в пространстве как-то очень уж сразу и очнулась на берегу реки Истры с тем же Борей, который бережно держал ее за руку и что-то горячо объяснял.

– Пойми, это... Это... – говорил он. – Это нужно понять сейчас, сегодня, не завтра, не послезавтра.

– Что это?

– Ну я же тебе говорю... – обиженно сказал он. – Ты что, не слышишь? Я тебя специально сюда отвел, чтобы без стукачей. Наши песни – это песни протеста! Понимаешь, протеста! Как у Виктора Хары! А *эти* песни – да их в телевизоре можно исполнять. В «Утренней почте». Поэтому мы и решили, что не допустим.

– Чего не допустим? – опять не поняла она, преданно глядя в его бороду.

– А вот увидишь... – сурово ответил Боря и повел ее обратно.

Все-таки какую-то часть его объяснений она пропустила, и это было обидно.

У костра уже сидела Ивлева и терпеливо ее ждала.

– Познакомилась? – весело сказала она. – Ну ты, конечно, Милорадова, даешь. Ну самых ненормальных тут нашла. Ну вот просто самых.

Сравнение с Бородинской битвой Танечку между тем по-прежнему не отпускало. «Но с кем же битва? – задумалась она. – Где враг?»

Постепенно *поляна* – и все это человеческое варево на ней, вся эта бесформенная толпа – приобрели другие черты. Раздались призывные крики, люди торопились, сбивались в кучи, по кучам разбегались деловитые ребята, раздавая какие-то палки. Уже совсем стемнело, часов девять или десять, Танечке стало как-то страшно. Они с Ивлевой тоже построились куда-то, и она наконец спросила:

– Мы куда-то идем?

– Да, к большой сцене...

– А она где?

– Она у реки, там, где излучина, помнишь?

И Милорадова вспомнила, что, когда они тянулись от станции, она увидела, что большую сцену строят не на самой поляне, а у поворота реки, за маленьким пригорком, на котором, наверное, будет удобно сидеть, получается как бы амфитеатр, а за рекой начинается большое поле, за которым виднеется большой лес.

Наконец началось движение.

Люди подняли над головой таинственные палки и стали их зажигать.

– Это что, факельное шествие? – прошептала Танечка.

– Да! – раздраженно сказала Ивлева. – Сама не видишь?

Факельные шествия она видела только в документальных и художественных фильмах про ку-клукс-клан. Это было как-то совсем не из той оперы.

Но в это время стройный хор голосов грянул песню.

Поднявший меч на наш союз...

Ивлева сразу подхватила:

Достоин будет худшей кары...

Танечка радостно запела тоже, эту песню она все-таки успела выучить.

И я за жизнь его тогда...

Не дам и самой ломаной гитары... —

резко и мощно развил тему мужской хор, оказавшийся где-то неподалеку и как будто ждавший своего часа, будто засадный полк.

Песня взлетела над поляной и сверху, как луна, осветила идущих:

Пускай безумный наш султан

Сулит дорогу нам к острогу...

Таня шептала одними губами:

Возьмемся за руки, друзья.

Возьмемся за руки, друзья.

Петь во весь голос совершенно не было сил. Мурашки бежали по спине. Абсолютное чувство счастья поразило ее бедное сердце. Это было настолько прекрасно – все эти несколько тысяч голосов, при свете факелов в ночи поющих эту песню, что она почти плакала и не могла петь громко.

...Возьмемся за руки, ей-богу...

Конечно, в этом был протест, да еще какой! Это был мощный, могучий, торжественный протест! Протест, подумала она, против самых разных вещей – против ужаса одиночества (в ее случае), против подстерегающих катастроф и бед (в случае Ивлевой), против безумия и болезни, но главное – против покорности. Нельзя быть такой покорной, подумала она, как я, они поют об этом! Но что же я могу сделать, верней, что я *должна* сделать?

Впрочем, думать об этом долго она не могла, просто не успела, потому что песня кончилась.

Это продолжалось всего несколько минут, дальше шли с факелами молча, и она постепенно отдышалась от волнения и от быстрого шага.

Яркие события между тем все никак не кончались.

Концерт начался очень хорошо, с песни Окуджавы «Сумерки, природа, флейты голос нервный, позднее катанье...», ее пела мужская группа «Облака», которую торжественно объявили со сцены в микрофон, это была «премьера абсолютно новой песни», которую «Булат Шалвович разрешил нам здесь попробовать». Пели хорошо, играли на гитаре еще лучше («Это Костромин играет», – покровительственно объявила Ивлева), песня была потрясающая и очень соответствовала ее настроению. Все это было для нее немного чересчур, она опять начала уплывать, одна песня следовала за другой, как вдруг на сцене появилось двое ребят, высокий, с длинным хайром, с гитарой, у которой был странный длинный гриф, и маленький, который стучал на бонгах и пел, играли они какие-то детские песни, довольно профессионально, но сразу вокруг начались свистки, негодующие выкрики, она сразу догадалась, что это о них говорил давешний Боря с самогоном, это была группа «Последний шанс», их тут все называли «последний шнапс», как презрительно объяснила ей Ивлева, Танечке тоже показалось, что эти двое крайне напряжены, очень кривляются, очень картинно ведут себя, совсем не по-каэсповски (можно ли так сказать? Нет, по-каэспешному), и вот они запели очередную детскую песню про ворону:

И напялила корону
На такую же ворону...
Ха-ха-ха-ха...

В это время кто-то рубанул топором по электрокабелю, и стало тихо и совсем темно. Эта страшная темнота и тишина опустились на поляну в одну секунду.

– Эй! – крикнул кто-то. – Вы че?

То, что рубанули топором по кабелю, она узнала уже потом, в этот момент ей показалось, что это просто техника не сработала, но темнота была полной, люди опять стали зажигать факелы, свечи, снова вполголоса напевать «Поднявший меч», обстановка была мрачной, тревожной, и она подумала, что больше не хочет тут сидеть, но одна, без Ивлевой, идти не может, потому что заблудится.

И все-таки она решила идти.

Ивлева равнодушно пожала плечами, пропустить такой важный концерт она не могла. Иди прямо, потом тропа повернет направо. Потом увидишь свою палатку, она желтая.

Таня повторяла это про себя, пока шла: прямо, направо, желтая. Больше всего она боялась, что цвет своей палатки в темноте она не различит.

Но когда она повернула, как сказала Ивлева, по протоптанной тропе направо – сзади, во-первых, раздался звук и возобновился концерт, стало не так страшно, во-вторых, тут тоже был свет – какой-то тусклый, отраженный от прожекторов на концерте, от костров, ну и в-третьих...

В-третьих, она оказалась как бы за кулисами, в той «внутренней части» слета КСП, о котором даже не догадывалась: многие ни на какой концерт не пошли, предпочитая простые человеческие радости – сидели у костра, ели, пили вино, обнимали девушек, целовались, даже играли в какие-то игры... Кидали при свете костра бадминтонные воланы, пинали мяч.

Это ее немного успокоило. И палатку она легко нашла.

Палатка была застегнута, значит, пустая, она смело вжикнула «молнией», отворила вход и залезла внутрь, внезапно натолкнувшись на чьи-то ноги.

– Кто тут? – испуганно спросил хриплый мужской голос. – А... это ты, – сказал Леша Бирман. – Тебя, наверное, Ивлева предупредила, что я тут у вас переночую. Ничего? Я уже заснул, извини.

Такого подвоха Милорадова, конечно, никак не ожидала.

– Ну а мне что делать? – капризно сказала она – и сама поразилась своей интонации, своему голосу. – Мне же тоже нужно как-то устроиться, переодеться, ты об этом не подумал, Леш?

Он встал и молча вылез из палатки. Лежал он, как стало видно, в свитере и штанах.

Сапоги надел уже там, на земле.

Помолчали.

– Але... – высунулась из палатки Милорадова. – А чего ты не на концерте?

– А чего ты не спишь? – ответил он не очень дружелюбно. – Ты же хотела устроиться, переодеться?

– Мне холодно, – честно призналась она. – Без Ивлевой я не засну. Давай лучше поговорим.

Ей очень хотелось спросить: «А что, у вас с Олей какие-то проблемы?», но она, разумеется, на это не решилась. Еще больше хотелось спросить, а вот как это бывает, на слетах, когда люди заходят друг другу в спальник в таких тяжелых антисанитарных условиях, и что они там делают, тем более что находятся в палатке не одни, но и об этом спрашивать тоже было как-то не с руки. Тогда она задала единственный пришедший в голову вопрос: видел ли он, что произошло на главной сцене?

– Видел, конечно, – сказал он. – Кабель перерубили, ты в курсе? Глупость все это, «Последний шанс» – хорошие ребята. Зачем их обижать, не пойму. Они же все равно узнают.

Танечка была потрясена.

– Как перерубили, топором? Зачем?

– Ну зачем-зачем, – улыбнулся он. – Есть настоящие революционеры. А есть ненастоящие. Вот нужно доказать, что мы – настоящие, а они нет.

– Революционеры? – робко спросила она. – То есть?

– Да ты не бойся, Тань, – успокоил он ее. – Я не провокатор, ничего такого. Никакого свержения существующего строя не предполагается. Это просто песни. Но для тебя они, например, как революция. Я же вижу.

– А для тебя? – упрямо спросила она.

– А для меня – нет. Это очень ограниченная, узкая сфера жизни. Слишком узкая, чтобы на что-то повлиять. Но здесь приятно. Ребята хорошие. Ну вот поэтому я хожу.

На что он хотел бы повлиять, она спросить не решилась.

К костру неожиданно подвалил Саша Российский, человек со странной фамилией, у него были невероятно голубые, почти прозрачные большие глаза и тонкие, немного брезгливые губы. Ивлева заранее предупредила, что он, возможно, придет и будет ее помогать (не тебя, а меня! – важно сказала она), то есть лезть в палатку, ссылаясь на то, что ему «негде спать».

– Гони! – сказала она и посмотрела в глаза ошaleвшей Милорадовой твердо и честно.

Российский взял гитару и начал петь Галича.

– Мы похоронены где-то под Нарвой... Под Нарвой... Под Нарвой... Мы были и нет...

– Так и лежим, как шагали, попарно... – задумчиво подхватил Бирман.

Пел Российский очень хорошо, а говорил мало. Ждал, видимо, Ивлеву, берег красноречие.

– Саш, извини, – осмелела Милорадова. – У нас в палатке только три места. Мне очень неприятно тебе это говорить, но это правда.

Российский засмеялся, но от костра не ушел.

Потом Российский начал читать стихи.

Проливаю слезу
Из будущего привезу,
Вставлю ее в колечко.

Будешь гулять одна,
Надевай его на
Безымянный, конечно.
Ах, у других мужья,
Перстеньки из рыжья,
Серьги из перламутра.
А у меня слеза —
Жидкая бирюза,
Просыхает под утро.

Читал он отрывисто и сурово, как будто сам прошел лагеря, ссылку, пережил другие тяжелые невзгоды или еще только собирался.

В этот момент подошла Ивлева и, увидев всю компанию, тяжело вздохнула, послала Лешу Бирмана за самогоном (самогоном, как потом выяснилось, был из того же источника: «Это Борька, он всегда пораньше приезжает, заходит в соседнюю деревню и покупает», — объяснил Леша), потом достали какие-то бутерброды, начали жарить сосиски, пировать...

Потом пели все новые и новые песни, а Таня смотрела на звезды и тихо, бессмысленно, просто повторяя слова при повторях, подпевала им.

Ничего уже не соображая.

Запомнила она только один момент. Когда часа в три ночи стало уже совсем холодно, Бирман неожиданно ей сказал: слушай, ну ты не стесняйся, двигайся ближе, больная ты нам не нужна, мы ж за тебя отвечаем, ты новичок, — и накинул ей на плечи какое-то одеяло, и придвинулся ближе, и обнял за плечи, и она, почувствовав его тепло, совсем разомлела.

Российский, который тоже обнимал Ивлеву за плечи, повел себя хорошо, в палатку не полез, ушел, ближе к пяти они втроем уютно устроились, она обняла Ивлеву и мгновенно вырубилась.

Рано утром Милорадова выползла из палатки, собираясь сходить на речку, прополоскать рот и спать дальше.

Настроение было настолько хорошее, что она даже сама себе удивилась.

Через поле, через горизонт уже проникал серебряный чистый свет. «Это, наверное, часов восемь, что ли?» — рассеянно подумала она.

Около речки, когда она уже шла назад, умывшись и прополоскав рот, Милорадова заметила Бирмана и Олю-контральто, которая стояла, прижавшись лбом к его широкой груди, и страстно молчала. Подумав секунду, Танечка прокралась в палатку, натянула свитер, Ивлева дрыхла как ребенок, и пошла пешком к станции. Одна.

«Больше все равно ничего не будет», — повторяла она про себя, как заклинание.

«Больше ничего все равно...»

Ни на какие другие слеты Танечка больше не ездила, хотя с Ивлевой долго еще продолжала дружить. На «репетициях» и «распеваниях» тоже не появлялась.

Палатку ей вернули в целости и сохранности, но позднее обнаружилось, что в одном месте ее все-таки чуть-чуть прожгли, и папа долго помнил об этом.

Да, она больше никогда не ходила на слеты КСП, но в 1995 году, уже живя в Торонто и прочтя в русскоязычной газете, что «Канадское объединение клуба самодеятельной песни приглашает принять участие в ежегодном конкурсе», помчалась в ближайший молл, купила палатку, кеды, свитер, термос, тяжелые штаны, колбаски для гриля, три литра воды, взяла с собой десятилетнего сына и на машине рванула по указанному адресу, в лес, за тридцать километров.

Это было такое специальное место, огороженное, прибранное, чистое, с мангалами для барбекю, с большой удобной радиофицированной сценой, словом, ничем не напоминавшее ей платформу «Турист». Ну вот просто ничем.

Но там ей тоже очень понравилось.

Не поле перейти

Марине Честик (русская, член ВЛКСМ с 1980 г.) отчим привез из рейса маленькую детскую дубленку и белую шапочку, которая ей очень шла. Зимой она ходила в дубленке всегда, даже выносить мусор. Дубленка вообще была первой вещью, в которой она почувствовала себя так хорошо, что иногда выбегала из дома просто чтобы пройтись по району.

Но даже эта дубленка не могла ее уберечь от пронзительного ветра, который буквально прожигал лицо (хоть она и пыталась закрываться воротником). Дело в том, что между микрорайоном и школой был пустырь – огромное поле с линией электропередач. Вот по нему и нужно было пройти по дороге в школу. Это было особенно неприятно ранним утром, в полной темноте, холодной зимой.

Когда позже она узнала поговорку «Жизнь прожить – не поле перейти», она сразу вспомнила про этот пустырь – дикий, бессмысленный; правда, летом на нем росли красивые цветы – кашка, львиный зев, иван-да-марья и прочее, но лето в Ленинграде было совсем коротким, а в другое время это был просто пустой кусок земли – огромный, необъятный, и там всегда был этот ветер в лицо, злой, колючий, ледяной ветер. До школы она порой добиралась вся в слезах – и от тоски, и от того, что просто слезились глаза.

На проспект Кондратьева в кооперативную квартиру они переехали с мамой и отчимом, когда Марине было, наверное, лет одиннадцать.

До того, как мама вышла замуж за боцмана дальнего плавания – это было забавно, что он именно не капитан, а боцман дальнего плавания, – они жили в коммуналке, в полуподвале, и там все дети болели легочными заболеваниями, стены были сырые, и дети заболевали – кто туберкулезом, кто чем-то еще. Существовала детская легенда, что двоюродная бабушка, которая когда-то *работала прислугой* – то есть не была прислугой, а именно работала прислугой, тогда так говорили – у знаменитого ленинградского актера, он играл Ленина, еще в 1930-е годы, что вот она-то, эта бабушка, и уберегла Марину Честик от туберкулеза или от другого легочного заболевания, потому что семья актера, игравшего Ленина еще в 1930-е годы, так с ней сдружилась, что разрешала привозить на дачу в Комарово свою внучку на целый месяц, и там Марина дышала сосной, пила козье молоко, хорошо питалась, и вот так *бабушка спасла внучку*, это была почти что сказка, как у Андерсена или Шарля Перро, но она прекрасно помнила это Комарово и слегка напряженные лица взрослых, когда она о чем-то их просила, хотя ей было всего три года и помнить об этом, по идее, она никак не могла.

Боцман дальнего плавания был добрый человек, он для Марины ничего не жалел, как-то привез удивительные разноцветные джинсы, весь класс ей завидовал из-за этих джинсов, доставленных прямо по морю, кажется, из самой Германии. Он привозил жвачку, настоящую, вкусную, как конфеты, и сильно тянущую, – на нее можно было выменять все что угодно. И Марина это ценила.

Особенно было важно, когда отчим привез целое джинсовое платье на пуговичках, это была вещь, в которой она впервые *запомнила себя*; разноцветные джинсы, батник, дубленка – все это тоже было очень нарядно и празднично, но в этом джинсовом платье она наконец стала взрослой девушкой, смотрела на себя и не узнавала – вот такой это был подарок.

Привозил он, конечно, и маме много вещей – и вообще дом был «полная чаша»: машина «Жигули», кооперативная квартира, дача под Сестрорецком, подарки и непрерывные улучшения жизни, маленькие, бытовые, но важные.

Единственное, что действительно отравляло Марине жизнь там, на проспекте Кондратьева, – вот это поле, необъятное, снежное и ровное как доска, с аккуратной вытоптанной тропинкой и с линией гудящих электропередач, которое каждый день надо было переходить, чтобы попасть в школу.

Но постепенно она привыкла.

Да, конечно, были в школе и проблемы – она любила Васильева, а Васильев любил Лиду Хейфец, и это было мучительно больно, но зато по этому поводу родилось много стихов и песен (она писала стихи и песни), ну или, скажем, когда приставали школьные хулиганы и однажды прилепили ей жвачку (ею же обмененную наверняка) к ее длинным волосам и пришлось выстригать целую прядь и ходить так, но она хулиганов не боялась и не придавала им никакого значения – между ними стояла как будто прочная стеклянная стена, она дружила с хорошими ребятами, юными археологами, они часто собирались, в том числе и у них на квартире, мама не протестовала, отчим часто был в рейсе, – ребята пели песни под гитару, обсуждали прочитанное.

А после десятого класса случилось вот что – мама неожиданно умерла.

Это было так: Марине позвонил дядя Женя, мамин двоюродный брат, и попросил приехать. Она как раз сдавала вступительные.

– Поживи пока у нас, – мягко сказал он. – Хотя бы несколько дней, ты же знаешь, мама в больнице, а тебе надо готовиться, что-то есть, пить... Ты не против?

Она была совершенно не против, перевезла на такси свои книжки, на ночь аккуратно почистила зубы, легла спать в неплохом, хотя и немного тревожном (поскольку во время экзаменов) настроении, – а в четыре утра вдруг вскочила от странного толчка в сердце. Все еще спали.

В шесть утра, еле дождавшись автобусов, она вышла из дома и поехала в больницу, и дежурный врач, который был не в курсе, что она не в курсе, сразу ей все сказал, и она упала на пол, потеряв сознание.

Экзамены она сдала, но с этого момента началась ее другая жизнь.

Вначале она пожила у дяди Жени с тетей Светой (пока сдавала экзамены и потом еще несколько недель), но потом, конечно, переехала опять на Кондратьева.

А еще через год она вновь оказалась в коммуналке. Отчим о ней заботился, жалел, даже опять привозил какие-то вещи, оставлял деньги на еду, но в рейсе, оказавшемся в этот раз необычайно длинным, быстро сошелся с буфетчицей, которая кормила команду.

Когда Марина Честик впервые об этом узнала, он как-то вспыхнул, быстро посмотрел на нее и сказал: «Я тебя не обижу, не бойся». И действительно, не обидел, обменяв ее долю в своей кооперативной квартире на комнату в коммуналке, где обитала буфетчица с сыном. Получился родственный обмен. Тогда пол-Ленинграда жили в коммуналках, да и сейчас в принципе живут, некоторые расселили, превратили в новые дворцы, но еще далеко не все.

А тогда она оказалась в квартире с двумя бабушками-блокадницами и еще с одним мужчиной-соседом.

Мужчина был невероятно чистоплотный, после работы он все время сидел в ванной и что-то стирал в тазике, одинокий человек, он просто обстирывал сам себя, что для мужчины, наверное, не так-то просто, и, может, по ходу дела полюбил это занятие, но тогда она этого не понимала и про себя называла его «мужчина-енот».

Мужчина-енот был страшно тихий и страшно незаметный, а вот бабушки – нет, они не были незаметными.

Потом, когда они узнали, что с ней стряслось, они, конечно, стали жалеть, любить – но поначалу смотрели на новую соседку с поджатыми губами и строго раз в четыре дня заставляли «дежурить по квартире», то есть брать ведро, швабру и тряпку – и мыть пол, драить до блеска поверхности на кухне, ставить мышеловки (что было особенно непереносимо), чистить унитаз и ванну.

Ничего этого она делать никогда не умела, пришлось учиться за один день.

Бабушки ходили за ней, пока она пласталась по полу с тряпкой, и указывали пальцем на недостаточно хорошо вымытые места, объясняли, что никакой химией у них тут пользоваться не положено и жирную плиту нужно оттирать просто железным ершиком с песком, ну и так далее.

Она в те дни как-то очень много думала об отце – настоящем, родном, о котором знала всегда и которого помнила хорошо. Он умер еще за несколько лет до мамы, как-то очень сразу после того, как они развелись, а развелись они, как была уверена Марина Честик, из-за нее.

Ну в частности, из-за того, что однажды, когда папа сидел дома с ней, маленькой, он решил пойти купить разливного пива в ларек, взял ее на руки и уронил на трамвайные рельсы.

Она была уверена, что мама развелась с ним из-за этого, и теперь, когда ей раз в четыре дня приходилось дежурить по большой квартире под руководством бабушек-блокадниц, она вспоминала этот момент, верней, пыталась вспомнить, и в голове возникали различные гипотезы – ну хорошо, ну вот он пошел вместе с ней за пивом, чтобы не оставлять дома одну, он был немного выпивши, но ведь она могла бы не проситься к нему на ручки, как это делала всегда, ведь ей было уже четыре года, она была толстая взрослая девочка, и если бы этого не случилось, родители бы не развелись, и он бы остался сейчас жив и приехал к ней сюда.

Хорошо, думала она дальше, но даже если вот он пошел вместе с ней за пивом, и он был выпивши, и она попросилась на ручки, но вот можно же было не тянуться, не вытягиваться в струнку, чтобы увидеть, как трамвай поворачивает на углу, и тогда бы он, державший в другой руке трехлитровую пустую банку, не уронил бы свою дочь на трамвайные рельсы, и не было бы этого скандала, и родители бы не развелись, и он бы остался жив и сейчас приехал к ней сюда.

Она была уже взрослая и прекрасно понимала, что у папы, хоть он и был красивым мужчиной, любившим маму, талантливым инженером, имелись в жизни серьезные проблемы, и не только с алкоголем, она понимала, что у мамы тоже, хотя она любила папу, наверное, тоже были серьезные проблемы с папой, и все случилось не то чтобы прямо вот из-за этого, но она снова и снова думала, что да, хорошо, хорошо, ну вот он держал банку в другой руке, она вытянулась в струнку и все такое, но ведь можно же было не пихать его в грудь, не отталкиваться от него, когда он сильно перехватил ее свободной рукой, сильно сжал этой рукой за ноги, пониже колен, ведь можно было не проявлять этого безумного непокорства, и тогда он бы не уронил ее на трамвайные рельсы, и она начинала безудержно молча рыдать, размазывая тряпкой этот грязный, навсегда, навеки уже грязный пол...

Но главная проблема, конечно, была совсем не в этом. Главная проблема была в том, что у нее банально не хватало денег, просто на еду и просто на проезд.

Первое время это было тяжело, но потом стало как-то ничего – ну, например, иногда случались такие дни, что совсем голяк, и она думала – ехать ли в университет на трамвае или лучше купить мороженое, и спокойно выбирала мороженое, и шла сорок минут по любимым питерским улицам, ни о чем не переживая и зная, что в конце пути она будет вознаграждена, да еще как.

Сложнее было зимой, потому что выяснилось, что в ее гардеробе отсутствует зимнее пальто – из той детской дубленки и белой шапочки она давно выросла, а новое почему-то не приобрела, или куда-то все эти вещи неожиданно делись, она не помнила, но в какой-то момент она очутилась в этой коммуналке на Петроградской одна и ровно с тем количеством вещей, которое унесла с собой, возвращаться на проспект Кондратьева и говорить с буфетчицей не хотелось, и тогда она научилась ходить зимой в толстом свитере под легким осенним пальто и в кедах, надетых на толстые шерстяные носки.

Она страшно мерзла, но почему-то не простужалась.

Бывало худо и с едой, но и тут какой-то выход нашелся, иногда, конечно, это был просто рабоче-крестьянский кефир с белой булкой, но тогда в магазинах все-таки кое-что было, и

она научилась покупать дешевые консервы и даже устраивала себе пир – свежей капусты в магазинах, предположим, не продавалось или продавалась исключительно страшная, гнилая, но зато была цветная, замороженная, венгерской фирмы «Хортекс», стоила она нормально, и ее можно было обжарить в сухарях и подать на стол вместе с жареными сосисками – это было уже баловство, но довольно дешевое. Более частым лакомством (если были деньги) была вареная картошка с тушенкой, тут уже она иногда сама угощала блокадниц, и они учили ее, как правильно чистить картошку, тонко срезая кожуру. Сколько она себя помнила, люди старшего поколения всегда учили ее этой важной премудрости, даже когда ей было лет, предположим, десять.

Блокадницы также научили ее варить крупу, например пшенку (пшенка в магазине пока была, гречки уже не было) – с луком и поджаренной морковкой, да и вообще, так учили они ее, – пока в магазине есть хлеб, все это совершенно не страшно.

Увидев в очередной раз, как она готовит сама себе, блокадницы наконец решили поинтересоваться ее семейным положением, и тут началась эпоха взаимопомощи, они даже плакали, глядя на ее «худые мослы», и постоянно предлагали какого-то то ли сала, то ли еще чего-то такого, чего она отродясь не ела, кажется жареной селедки. Иногда, впрочем, ела, потому что была голодна.

А иногда есть было просто совсем нечего, и она жевала остатки хлеба, думая о том, что бояться ничего не надо, на факультете стрельнет у кого-то рубль и проживет на него еще три дня, а там посмотрим, – и с этой мыслью спокойно засыпала. Она уже знала, что пить воду на голодный желудок нельзя, курить тоже, надо думать, – и она думала.

При этом, когда появились первые деньги, со стипендии, она сразу стала ездить в университет на такси. Потому что постоянно опаздывала и было неудобно перед преподавателями.

«Вот как так получается, что денег на еду нет, а на такси ездить приходится?» – говорила иногда сама себе Марина Честик, но в общем это почему-то не сильно ее удивляло.

Тема с мытьем полов имела, конечно, продолжение.

К счастью, она умела задавать людям вопросы – простые, имеющие непосредственное отношение к делу вопросы, и люди всегда очень ценили это ее качество – так, в частности, оказавшись однажды с двумя рублями за десять дней до стипендии и понимая, что занять будет вообще не у кого, она спросила у первой попавшейся знакомой, не знает ли она, как поступают здесь люди, которые оказались без денег вообще, ну вот просто даже до такой степени, что не только запасные трусы, но и булку купить не на что, и подруга сразу все поняла, на следующий день подошла и сказала, что на биофаке требуется ночная уборщица, работа в вечернее время, шестьдесят три рубля в месяц, короче, тебе подходит.

Она мыла полы на биофаке, действительно, буквально в глубокой ночи, перетирая тряпкой скелеты, пробирки с заспиртованными младенцами, книги великих мыслителей прошлого, потом работала дворником у себя на Петроградской, скребла асфальт огромной лопатой, подметала пыль, потом давала еду животным в ленинградском зоопарке, думая по ночам, сквозь слипающиеся от усталости глаза, о том, что старая тигрица смотрит на нее немного странно при кормежке, и жизнь уже не казалась пустой и бессмысленной, она снова приобрела какой-то вкус и оттенок спелой сливы.

Такого оттенка – цвета спелой сливы – был ее единственный свитер, который служил ей основной одеждой, он был ее талисманом и ее доспехами, мужской свитер грубой вязки, на два размера больше, его оставил ей одноклассник, когда она как-то замерзла как цуцик во время байдарочного похода, и вот теперь вместе с вельветовыми джинсами (спасибо, боцман дальнего плавания, хотя бы за это) он ее спасал и от холода, и от чего-то еще более плохого – от этого треклятого сиротства, когда ты одеваешься хуже всех, не потому что страшна и нелепа, а потому что так сложились обстоятельства.

Нет! Она *не* одевалась хуже всех. Возможно, она одевалась лучше всех.

Она покупала театральную тушь на Невском и долго, тщательно наносила ее вокруг глаз – в результате в темном зеркале старого платяного шкафа, оставшегося в наследство, видимо, от жертв революции и большого террора, появлялась какая-то женщина с драматическим лицом и одетая притом с необычайным вкусом – этот хипповский мужской свитер, вельветовые джинсы, эти кеды...

Свитер в результате некоторых манипуляций, правда, стал несколько короче, чем был изначально, но по-прежнему был мужской, грубой вязки, огромный – но теперь между вельветовыми джинсами и свитером, особенно когда она наклонялась, всегда возникала узкая полоска спины. Это было не очень удобно в лютые холода, но зато она связала себе из оставшейся шерсти варежки без пальцев, и, второе, от этой узкой полоски спины некоторые люди буквально не могли оторвать взгляд.

Среди некоторых оказался один, звали его Володя Ерошкин, который не мог оторвать вообще, и вскоре они проводили уже довольно много времени вместе.

Иногда она шла пешком по Невскому, в своих кедах, надетых на шерстяные носки, и в осеннем пальто, заходила в какой-нибудь кафетерий погреться, брала «кофейный напиток» со сгущенкой за десять копеек, грела руки о граненый стакан и напряженно думала – зачем? Зачем с ней все это случилось? К чему ведет эта цепь событий, этих нелепых жестоких случайностей? Ведь кто-то же знает ответ на этот вопрос?

Но она не знала.

Мама совсем не хотела, чтобы она поступала на филологический, – «потеряешь год», горестно говорила она, ей казалось, что без блата туда поступить невозможно, но Марина все-таки поступила – сдал последний экзамен на пятерку, возможно именно потому, что преподаватели знали о ее внезапном горе, – и теперь яростно изучала романо-германскую литературу; после огромного дня, который начинался в шесть утра с метлы и лопаты, после занятий и сумбурной дневной жизни, после вечерней смены дворника, после сытной картошки и тушенки она начинала читать «Старшую и младшую Эдду», наслаждаясь слогом исландских саг, а чтобы не вырубиться мгновенно, жевала булку, как Иван-дурак в сказке о сивке-бурке, именно булку, а не шоколадки, потому что на шоколадки денег все-таки не было.

На факультете иногда вдруг так хотелось есть, что просто не могу, некоторые девчонки шли обедать в ближайший ресторан, там давали комплексные обеды по рубль восемьдесят, а они с подругами отправлялись в пельменную и брали порцию за двадцать восемь копеек и тот же стакан кофейного напитка со сгущенным молоком за десять, хлеб бесплатно.

Сидели долго, обсуждая перспективы, да и вообще всякую всячину.

Одна третьекурсница вышла замуж за известного на весь Ленинград режиссера-документалиста, старше ее лет на тридцать, а то и на сорок, Марина не могла понять, как такое возможно, а что ты не понимаешь, горячились подруги, ну это же другая жизнь, ну что значит другая, другие возможности, ну кому мы нужны, ну кто тебя возьмет на интересную работу, главное же не деньги, не шмотки и все такое, а настоящая работа – подруги смотрели на нее придирчиво, но с интересом, было видно, что они оценивают ее способности оседлать своего сивку-бурку, и оценивают вполне положительно, ей иногда говорили в порыве откровенности: «знаешь, а ты интересная», – но у нее уже был сивка-бурка, Володя уже заполнил целиком ее жизнь, без остатка, и она сама не понимала, как это случилось.

В зоопарк он устроился вместе с ней, кормить животных, она сначала думала, что ему тоже остро нужны деньги, а что такого, даже у домашних мальчиков бывают серьезные потребности, потом она поняла, что дело в ней, он хотел, чтобы ей не было так тяжело, и впервые за годы ощутила тепло в груди, почти расплакалась, но просто взяла его за грязный рукав спелцовки и прижалась крепче. Володя пропадал у нее и днями и ночами, это началось еще на Кон-

дратьева, когда боцман был в рейсе и скрывал свою преступную связь с буфетчицей, иногда они, дойдя, как учил поэт, до самой сути, долго лежали под одеялом и смеялись от радости, не очень хорошо представляя, что делать дальше, им было по восемнадцать, и такая неосведомленность была им простибельна, иногда они просто сидели спина к спине и читали книги, варили какую-нибудь еду, типа макарон с сыром. Почуввав неладное, с ней решила познакомиться Володина мама, она привезла с собой сырую курицу, чтобы мальчик что-нибудь «съел нормальное», но сырая курица была, конечно, лишь поводом, предстояло первое знакомство, Марина пристально взглянула в зеркало, свитер по-прежнему сидел хорошо, она взяла театральную тушь и решила сделать макияж по особому случаю более тщательно, мама чуть не упала в обморок, когда ее увидела: девочка с совершенно черными глазами и длинными волосами курила, картинно сидя на столе. Но потом они подружились, и Марина вместе с Володей стала ездить к маме на блины. Выяснилось, кстати, что Володин дом не так уж благоустроен и крепок, как могло показаться по отпрыску, – папа давно уже жил не там, пропадал в каких-то зарубежных командировках, что-то преподавал, словом, это был распадающийся брак, но это не очень афишировалось, чтобы опять же не травмировать мальчика, поэтому папа приехал на Кондратьева отдельно. Марина ему очень понравилась, он долго говорил с ней о старшей и младшей Эдде, о Роланде, о перспективах, как она их себе представляет в нашей стране, – наступает время перемен, загадочно говорил он, что он имел в виду, она тогда не поняла. В подарок он оставил им огромную яркую коробку, в которой оказались презервативы, это была какая-то специальная подарочная серия, все они были ярких цветов – красного, желтого, сиреневого, как с ними поступить, они пока еще толком не знали, то есть знали, но чисто теоретически. И тогда они для прикола пошли в ванную и стали наполнять презервативы водой, они покачивали над наполнявшейся ванной этими огромными шарами, наполняли их и наполняли, оказалось, что шары получаются дико огромные и готовы выдержать какое угодно количество воды, они не лопались до последнего, когда уже держать было тяжело, а потом раздавался страшный оглушительный шум. Они плескались и хохотали, как сумасшедшие, что с ними надо делать, с этими изделиями, они научились потом, не сразу, а тогда казалось, что это такая игрушка, – коробка была гигантская, штук, наверное, на триста.

Прошло целых два года, пока Володя окончательно не переехал к ней на Петроградскую, все-таки они были еще детьми и слушались родителей, – но потом снова началась совсем другая жизнь.

В одной большой ленинградской газете потребовался корректор, это была все-таки уже интеллектуальная работа, и стоила она хотя бы немного дороже, чем работа уборщицы, корректор работал в вечернюю смену, и после учебы Марина теперь летела в Дом печати, где были симпатичные люди, вечно пившие чай и растворимый кофе, в комнате всегда стоял запах свежих гранок, – и вот эти бесконечные абзацы, которые она стала учиться вычитывать.

«Благодаря последовательной и активной внешней политике социалистических стран, решительным действиям всех миролюбивых сил удалось заметно оздоровить международные отношения на основе принципов мирного сосуществования государств с различным общественным строем. Эти позитивные перемены укрепляют надежды народов и молодежи на лучшее будущее, отвечают их коренным жизненным интересам...

В то же время, когда обостряется противоборство вокруг дальнейших перспектив разрядки, когда активизировались ее противники, тем более важны массовые выступления молодежи за мир и безопасность народов, за ликвидацию очагов военной напряженности, против происков империализма и реакции».

– Ну вот скажи... – говорила она ночью Володе. – Ну вот, например, этот кусочек. Ты четко понимаешь его смысл?

– А зачем? – пожимал он плечами.

– Ну я-то должна понимать! Если я не буду понимать, то не смогу заметить ошибку! И меня уволят. И перестанут платить эти девяносто восемь рублей, на которые мы живем. Нет? Непонятно?

– Ну чего ты горячишься? – обнимал он ее. – Да никто не заметит этой ошибки!

– Нет! – вспыхивала она. – Нет! Ты не прав... Есть люди, которые этот текст *писали* – понимаешь, сидели на какой-нибудь госдаче, писали, получали за это какие-нибудь, я не знаю, плюшки или другие знаки отличия... И они точно этот текст прочитают насквозь, на просвет, каждую букву проштудируют!

– А разве вам такое не в готовом виде присылают? – удивлялся он.

– Дурачок ты... Нам присылают тассовку, понимаешь ты это или нет... Это такая длинная колбаса, рулон бумаги. И с нее уже набирает наборщик! У каждого наборщика свой линотип. И черт его знает, чего он там набирает, а мне отвечать.

– Господи, – удивлялся он, – какая допотопная система.

– А больше тебя ничего не удивляет?

– Нет, – пожимал он плечами. – Ты про стиль? Ну так это вечная история. Это вечность. Партия и правительство – они вечны, как Кощей бессмертный. Понимаешь?

Вот такие веселые разговоры они вели, но и эти разговоры не оставляли в ее душе ощущения окончательного ответа на заданные вопросы. Ну хорошо, она ничего не понимает в политике. Но в русском языке она понимает!

Как может обостряться «противоборство вокруг дальнейших перспектив»? Как можно делать подряд столько одинаковых согласований в одной фразе: «международные отношения на основе принципов мирного сосуществования государств с различным общественным строем» – ну это же бред.

Нет. Она этого не понимала.

Это было выше (или ниже) ее понимания.

Постепенно эти длинные паучьи фразы, которые обхватывают твой мозг как паутина, стали ей сниться, – а она прочитывала каждую из них десятки раз, силясь понять смысл и не пропустить ошибку. Опытная Марья Петровна учила ее ставить едва заметные черточки вокруг опорных слов, чтобы не потерять общую картину падежей и согласований, но Марина – снова и снова – не понимала, какие слова в этой галиматее опорные, а какие нет.

Страх ошибки проник в ее душу и стал казаться неотвратимой перспективой.

Ее уволят со скандалом, с волчьим билетом, а возможно еще и арестуют.

Между тем работу в редакции она постепенно полюбила. Там были свои плюсы. Этот вечный чай в корректорской или растворимый кофе с печеньем – он был каким-то очень уютным занятием, он создавал ложное ощущение домашнего тепла, от которого она отвыкла. Рядом грохотали линотипы, крутилась ротационная машина, ходили чумазные наборщики с шилом в руках, бегали взмыленные корреспонденты, а она просто сидела и читала. Или пила чай или растворимый кофе.

Были и другие плюсы – например, давали иногда какие-то заказы, и, например, она отдавала гречку, которую так и не приучилась есть, своим блокадникам, а те освобождали ее от дежурства по квартире. Да и вообще ей хотелось им помочь. Ей всем хотелось помочь. Однажды была распродажа, продавали чешские красные туфли, она впервые в жизни смогла наконец купить себе что-то вместо кед, и тут ее попросила подруга с факультета купить ей тоже, дала денег, и она купила две пары.

Ее тут же вызвали в первый отдел и наорали.

– Ты комсомолка или нет? Ты понимаешь, что это спекуляция! Я тебя в следующий раз за такое поганой метлой из корректорской выгоню! – орала заведующая первым отделом, и ответить ей было ничего нельзя, Марина это понимала и просто стояла и молча плакала.

Как-то раз ее вызвал заведующий отделом писем, морали и права Виталий Иванович и предложил перейти к нему в учетчицы писем. Она была счастлива. Теперь ей не нужно было выпутываться каждый день из этой адской, страшной паутины слов.

Она регистрировала письма, делала пометки на сопроводилках, вела статистику, подкалывала типовые бланки с ответами, а однажды напросилась у Виталия Ивановича в командировку – в недалекое Колпино, писать об ученых, потом ее заметки стали больше и увереннее (ну ведь не зря же она писала стихи и песни и ходила в литературный кружок во Дворец пионеров!), а еще через два года, уже во время перестройки, она писала о марше политзаключенных и их детей, была такая акция на Невском проспекте, и там она написала, что когда-нибудь Коммунистической партии предстоит держать ответ за свои преступления, и к этому суду истории надо готовиться уже сейчас.

– Ты что, офигела? – спросил ее Виталий Иванович, спокойно вычеркивая этот абзац.

– А что, разве неправда? – с вызовом переспросила она.

А потом ей все-таки пришлось еще один раз приехать на проспект Кондратьева – оказывается, ее согласие на обмен оформлено неправильно и нужно написать его заново. Бойман был спокоен, буфетчица крайне приветлива и приглашала в гости, ну что ж ты у нас совсем не бываешь, совсем не бываешь. Марина выглянула в окно и увидела это поле. Огромное и, как всегда, засыпанное белым снегом. Теперь тропинок стало больше. Они были как заячьи следы – и вели совершенно в разные стороны.

А потом был стройотряд на пятом курсе, Казахстан, коровник, который они там строили, кирпичи, раствор, мозоли, жара, болели руки, но она знала, что вечером у костра они будут пить вино и она прижмется к плечу Ерошкина, и это тоже была какая-то отдельная, очень короткая и очень яркая жизнь, она уже знала, что сможет спокойно и безо всяких усилий (почти безо всяких) принять форму этой жизни и прожить ее без лишнего напряжения, а потом было много всякого, яркого и серого, она сбилась со счета – сколько же жизней ей удалось прожить, маленьких и больших, но, может быть, эти разноцветные шары, которые они наполняли с Ерошкиным водой и хохотали в ванной, – они были важнее городов и стран, и даже некоторых людей, и даже некоторых эпох, в них было нечто такое, нечто такое, нечто такое...

Когда через много лет мы с ней неожиданно выпили и разговорились (она в ту пору жила уже в Москве и некоторое время работала со мной в одной редакции) и она вдруг рассказала мне про это бесконечное, белое снежное поле, я осторожно спросил ее:

– Ну, так ты перешла? Смогла?

Она сначала пожала плечами, а потом рассердилась.

– Ты меня о чем спрашиваешь вообще: в чем смысл жизни? – резко спросила Марина Честик, допивая стакан вина.

– Ну в принципе да...

И тогда она перевела разговор на другое.

«Оптика» на Масловке

Настя Иванова, русская, 1959 г.р., член ВЛКСМ, брюнетка с бледной кожей и красивыми, как бы слегка туманными серыми глазами, страдала врожденной близорукостью, которая у нее развивалась стремительно, достигнув к шестнадцати годам уже минус девяти – при этом она ненавидела, как и все девочки ее возраста, носить очки.

Ненавидела она их носить до такой степени, что когда мама посылала ее во двор с мусорным ведром (они жили на последнем этаже блочной пятиэтажки на Самаркандском бульваре) – Настя Иванова поступала так: в полутемной парадной, спустившись на первый этаж, она снимала с носа проклятые очки, открывала ключом почтовый ящик (мама просила заодно его проверить), опускала туда очки и выходила из дома. Потом она проходила по памяти три подъезда, поворачивала направо, туда, где в глубине, под деревьями, стояли мусорные баки, практически в кромешной тьме переворачивала дурно пахнущее ведро, оглядывалась в поисках знакомых и, не найдя таковых, также по памяти шла обратно, снова на ощупь открывала дверь подъезда, всовывала ключик в скважину, распахивала почтовый ящик, доставала очки, нацепляла их на нос и бежала вверх по лестнице.

Да, это были ее три минуты глупой свободы от очков – но выходить во двор в очках было выше ее сил.

Надо ли говорить о том, что когда она шла в школу и утром выходила из дома, она точно так же снимала очки и снова шла наугад? Это «наугад» превратилось у нее в целый образ жизни – потому что в очках жить было решительно невозможно. Они ее портили.

Они скрывали все – и бледную кожу, и черты лица, и туманные серые глаза, и вообще делали ее какой-то дурой.

Так, например, она научилась распознавать номера автобусов по каким-то одним ей известным сочетаниям непонятных бликов и штрихов – на их остановке было три автобусных маршрута, из них только один нужный, 206-й, и вот она садилась в него всегда безошибочно, определяя без очков его номер, хотя блики и штрихи выстраивались в загадочную картинку в зависимости от погоды и других неожиданных факторов.

Когда к ней приближался какой-нибудь человек – в школе, или во дворе, или на улице, она волновалась, потому что могла узнать его только совсем вблизи, и было совершенно непонятно, с какой вестью эта зыбкая фигура, ритмично колышущаяся в тумане, подходит к ней: с доброй, злой или нейтральной?

Это ее внутреннее волнение было постоянным. Люди вокруг нее были неузнаваемы до того момента, пока не подходили к ней близко-близко или не кричали знакомым голосом: «Привет, Иванова!»

Очки она надевала, лишь когда читала книгу или смотрела кино. На уроках она сидела в очках только во время письменных работ.

Зная об этой ее ужасной привычке, мама сердилась на нее и даже порой повышала голос: – Ну как ты не понимаешь: врачи говорят, что если ты не будешь носить очки постоянно, то не сможешь улучшить зрение! Ты не сможешь родить! Ты не сможешь работать! Сколько денег и времени мы угрохали на это лечение, можешь ты понять или нет, Настя?

И верно, сил и времени на лечение близорукости было потрачено немало. Были поставлены на ноги все родственники и знакомые, найдены «лучшие специалисты», проведена куча исследований, эти специалисты с умным видом подолгу разговаривали с мамой, рассовывая при этом пятерки и трешки по карманам белых халатов, Настю заставляли делать массу упражнений, укрепляющих «глазные мышцы», это было неприятно и даже больно поворачивать зрачки туда и сюда сотни раз, на ночь и среди дня, но главное – ей снова и снова выписывали

очки и требовали носить их не снимая, самое главное – не снимая! – что было совершенно невозможно, невероятно и немислимо...

Правда, случались и неожиданно приятные моменты. Особенно ей нравились лечебные процедуры с книгой – когда ее *заставляли* читать подолгу, раз в полчаса сменяя очки со специальными линзами. Она хорошо помнила, как читала в поликлинике Сетона-Томпсона, читала час, полтора, это было волшебно. Иногда ей закапывали в глаза, когда проводили исследования глазного дна, – мир совсем расплывался, и можно было не идти в школу, это тоже было неплохо...

В институте Гельмгольца, куда они ездили с мамой до «Лермонтовской», приходилось ждать часами, томиться в очереди, она сидела с книжкой и посматривала по сторонам: вокруг тоже сидели и ждали несчастные старики и старухи, все в очках, недовольно переругиваясь, рассказывая о своих ужасных страданиях, это были люди с ее точки зрения совсем уже старые, невыносимо больные, и образ человека в очках навсегда связался у нее в голове с этой старостью, с бессилием и слабостью, поэтому она уверенно шла сквозь этот неясный мир *без очков*. Да, он был опасен, туманен, порой неразличим, но он был свеж и радостен. Она выучила наизусть свои маршруты в метро, поскольку указателей читать не могла: где поворачивать, сколько шагов идти до лестницы, на какой эскалатор садиться – да, она выучила все это, красный и зеленый глаз светофора обманчиво мерцал вдали, лица прохожих проплывали, как корабли береговой охраны, безымянные троллейбусы шуршали мимо, неразличимые улицы ждали ее, и в этом даже что-то было. Иногда, совершенно случайно, вдруг, надевая очки посреди улицы, она с ужасом отмечала про себя липкие взгляды взрослых мужиков, которые то и дело стремились приблизиться, черные от копоти стены домов и уродливые бетонные заборы, а на их фоне усталых, как будто измочаленных, несвежих людей. О нет, этот мир в своем нерезком состоянии был гораздо лучше! И она пыталась проскользнуть внутрь него так, чтобы нигде не удариться и не споткнуться, и ей это вполне удавалось.

Все изменилось в тот день, когда папа пришел с работы и взволнованным голосом сообщил, что «проблема, кажется, решена», что он «нашел одну женщину», «очень милую» (естественно), которая поможет с оправами, и Настя наконец сможет носить очки.

Сначала она не поверила и вообще хотела пресечь весь этот ненужный разговор, ограничивающий ее свободу, как вдруг папа жестом фокусника достал из портфеля несколько оправ и разложил их на столе. Вот это Италия, сказал он, это ГДР, чуть подешевле, это Югославия, выбирай. Неверной рукой Настя примерила очки и, подойдя к зеркалу, обомлела.

Конечно, очки были с простыми стеклами, туда еще нужно было «ставить оптику», но и невооруженным взглядом Настя видела, как они изменили ее лицо.

Тогда как раз были в моде очки с огромными оправами, и эти невероятно изящные, плавные, естественные формы, как оказалось, ей очень шли – да и вообще тут не было никакого сравнения с тем, что продавалось в обычной «Оптике», это были не оправы, а почти произведения искусства, причем в каждой было что-то свое, волнующее, непохожее, и она не сразу поняла, какие ей идут, а какие нет.

Стоили эти оправы, правда, бешеных денег – что-то такое от двенадцати до восемнадцати рублей, она просто ахнула, но потом подумала, что, наверное, надо в конце концов соглашаться.

Так в их жизни появилась Татьяна Сергеевна – волшебная женщина, скромная, улыбкающая, совершенно спокойная, ни сном ни духом не выдававшая своего волнения в тот момент, когда Настя оставляла у нее на столе – как правило, в конверте – деньги, совершенно другие, чем было означено в ценниках обычных, то есть советских, очков.

Сначала Татьяна Сергеевна работала в Первой аптеке на улице 25-го Октября, а потом из центра переехала подальше, в большую и просторную «Оптику» на Нижней Масловке, которая в то время еще не была частью адского третьего транспортного кольца, а была обычной, тихой

московской улицей – по ней ходили трамваи, ее перебегали пешеходы, посреди нее чинно стоял бульвар, где сонные с утра люди меланхолично гуляли с собаками, и, попадая на нее со своего Самаркандского бульвара, Иванова даже несколько завидовала тому, как живут москвичи на этой счастливой улице.

Теперь, когда появились эта «Оптика» на Масловке и Татьяна Сергеевна в своем синеватом халатике, в жизни Насти Ивановой начался какой-то новый этап. Сначала она это не очень осознала – было просто некогда все это осознать. Нужно было поступать на вечерний, брать какие-то справки, сдавать экзамены экстерном, готовиться с репетиторами – и то, что новые красивые очки постоянно были на ее лице, воспринималось как-то естественно – ну а как же без них?

Эта первая оправа вообще была совершенно волшебной, она упростила папу выбрать самые дорогие, итальянские, очки – с огромными стеклами, которые по ее просьбе сделали дымчатыми, с плавным изгибом красноватой дужки, с какими-то невероятными золочеными клепками, она не хотела с ними расставаться даже ночью и порой долго лежала, читая учебник, просто чтобы чувствовать их на себе. Мама тоже была счастлива.

В этот же момент случился – как-то сразу – ее первый и второй серьезный роман в жизни: это были два друга, Синявин и Кудряшов. Один был по натуре аристократ и из «хорошей семьи», ироничный парень с внимательным взглядом, второй из семьи более «рабоче-крестьянской», как говорил папа, но невероятно хорош собой, высокий, спортсмен, добрый и с чистой душой, как говорила мама. Оба они перестали быть ее одноклассниками, когда она перешла в вечернюю школу на Маяковке, чтобы сдавать экзамены экстерном, но отношения не прерывались. Кстати, способствовала и погода – весна. Впервые она сходила с мальчиком вдвоем в кафе, кажется это был Синявин, и вообще Москва открылась ей новыми красками – оказалось, что это очень праздничный город, и четкие очертания ничуть его не испортили.

Особенно она любила (теперь) этот плавный переход от многолюдной Пушкинской площади вниз к проспекту Маркса, когда тебя грозно и торжественно со всех сторон обступали огромные сталинские дома, пространство очищалось и как будто катилось вниз, к кремлевским башням, воздух становился более ясным и свежим, и казалось, что в нем проступает какое-то другое будущее, дразнящее и горькое. Взявшись за руку с Синявиным, она не раз проходила этот маршрут, иногда думая о том, не снять ли по старой привычке очки, чтобы ощутить этот мир прежним – влажным и туманным, пугающим и радостным в своей неразличимости, острым и печальным, оттого что она не может его до конца увидеть, и каждый раз она отказывалась от этой мысли, аккуратно снимая очки лишь в тех случаях, когда Синявин властным и очень взрослым движением привлекал ее к себе, чтобы поцеловать. Куда девать очки при этом, она не знала, поэтому иногда просто засовывала их в верхний карман его куртки, что каждый раз вызывало его здоровый смех.

Она улыбалась.

– Ну а куда я их дену?

Потом выяснилось, что у Синявина одновременно был бурный роман с ее одноклассницей, и начались долгие, надрывные отношения с Кудряшовым, который часто стал приезжать к ней домой «с новыми записями» и тревожно сидеть на кухне, выпивая один стакан чая за другим. Записи она, конечно, слушала, записи были хорошие – «Пинк Флойд», «Йез», «Везе Рипорт» и так далее, – но была начеку, потому что ситуация складывалась какая-то нелепая. Очки, конечно, ей приходилось снимать, потому что отпускать Кудряшова совсем просто так было бы, конечно, тоже немилосердно.

В этих случаях она аккуратно клала их на книжную полку, которая висела как раз рядом с креслом и диваном, где они с Кудряшовым располагались (то там, то там).

В эти моменты домашний мир вновь обретал прежнее качество – *неясности*, где-то там, очень далеко, тикали стенные часы, туманное пятно на еще более туманной стене, который час – непонятно, и в этом было что-то хорошее. *Тревога*, которую она чувствовала всегда, каждую секунду, с самого раннего детства, уходила куда-то глубоко внутрь, она не пряталась теперь в каждой детали, в каждой черточке бытия – в уголках книг, в крае стола, в рисунке паркета, нет, тревога, когда Настя снимала очки, становилась просто частью ее самой, и с этой горькой тревогой она раскрывала губы, но очень осторожно, уступая спортивному натиску.

Впоследствии выяснилось, что в этот волнующий момент окончания школы вообще *все встречались со всеми*, это ее совершенно не возмущало, в это выпускное лето почти все происходящее казалось ей правильным, значительным и ярким, но ситуация изменилась осенью, когда стало холодно и дождливо и она все-таки поступила, хотя и с одной тройкой, на вечернее отделение и одновременно стала работать в одном пресс-центре секретарем, потому что нужно было иметь свои деньги и зарабатывать «в том числе и на очки», как сказала мама.

Действительно, очки были дорогие, но одной пары, конечно, ей не могло хватить.

Добрейшая Татьяна Сергеевна объяснила ей, что нужны отдельные очки для чтения, да и вообще, сказала она, внимательно и с улыбкой глядя ей в глаза, ты же не носишь одно платье все время, правда? Очки – это такая же вещь, женский аксессуар, они должны быть на разные случаи жизни, ну как минимум две оправы, а то и три.

Ну да.

Сначала она купила вторую пару в тонкой стальной оправе с каплевидными большими линзами, «как у Джона Леннона», тогда и они тоже были в моде, и решила, что это будут как раз ее очки для чтения; правда, они ее делали какой-то беззащитной, и что-то, конечно, в этой усиленной беззащитности было, но вообще-то беззащитность – это не для улицы, а, наверное, все-таки для домашнего употребления.

Потом она вставила в те самые первые очки линзы-хамелеоны, которые темнели на солнце, и это была очередная революция в ее жизни – она не просто выглядела в этих своих новых очках прекрасно, так еще эти новейшие (тоже довольно дорогие, рублей по пять каждая) линзы, великое изобретение человечества, скрывали сам факт ее близорукости, которой она по-прежнему, по детской привычке, стеснялась и не хотела, чтобы каждый встречный об этом знал, – получалось, что она просто идет по улице в модных темных очках, что было еще более эффектно.

И тогда ей потребовалась еще одна пара, оправы, может быть, не такая большая, не на пол-лица – Татьяна Сергеевна долго подбирала, но подобрала *оригинальную оправу*, как она говорила, витые дужки в виде змейки, странные полукруглые линзы, синеватый отлив, все красиво, но немножко холодно.

Какие очки в какой день надевать – Настя, честно говоря, не знала. Все-таки ей больше нравились те, первые. В них ее лицо было нежнее. Мягче. Но и эти, вторые, пусть тоже будут – они, предположим, больше подходили к каким-нибудь ярким брюкам, которых у нее, правда, пока не было.

Словом, жизнь ее сильно изменилась благодаря этой «Оптике» на Масловке – теперь она видела каждого человека ясно и понимала, зачем и с какой целью он к ней подходит.

Входя в царство Татьяны Сергеевны – в эту самую «Оптику», Настя каждый раз испытывала очень сложное чувство. С одной стороны, чувство жалости к тем простым людям, которые вертели в руках обычные советские, дешевые оправы (а они были выставлены на витринах во множестве и все были похожи одна на другую), – это были люди, которые привыкли к такой жизни, смирились с этим положением вещей, и она их не понимала, но, конечно, жалела за это безвыходное положение и угнетенное существование. С другой стороны, еще одним чувством в

этой прохладной, просторной и скучной «Оптике» был страх, некоторое волнение перед самой процедурой.

Дело в том, что привыкала она к новым очкам всегда долго и мучительно. Иногда три дня. Иногда неделю. Татьяна Сергеевна ее ласково каждый раз предупреждала, что будет трудно, придется привыкать, но каждый раз это было довольно тяжело. Кружилась голова, в транспорте слегка тошнило, читать в новых очках было вообще невозможно, мир снова становился нерезким и загадочным.

... Именно в таком состоянии Настя Иванова в марте 1980 года отправилась в мастерскую художника.

В пресс-центре одного научно-исследовательского института, куда она устроилась сразу после школы, Настя проработала недолго. Вскоре ее однокурсник и близкий товарищ Валентин, с которым когда-то тоже намечался роман (кстати, абсолютно, полностью близорукий человек, как и она), – устроил ее работать в редакцию детского журнала.

В этом всесоюзном детском журнале она отвечала на детские письма, выслушивала начальственные истерики, смеялась шуткам, делилась новостями и сплетнями, которых в любой редакции всегда немало. Но был в этой новой жизни еще один момент, который ее необычайно привлекал.

Этот журнал был цветной и иллюстрированный, все 64 полосы печатались новым офсетным способом, к каждой странице прилагался цветной оригинал – «картинка», и потому в редакции всегда бывали художники.

Много художников.

Один из них, Василий Трубников, пригласил как-то Настю Иванову к себе в мастерскую, «на сейшен», как он сказал, да ты не стесняйся, это же мастерская, там все демократично.

Мастерская находилась на Верхней Масловке, и она, направляясь по указанному адресу (сам Трубников побежал вперед закупать сухое вино и «кое-какую закуску»), решила по дороге зайти в свою «Оптику», поскольку Татьяна Сергеевна давно уже приглашала забрать очки с новыми линзами.

Это были те самые «оригинальные» очки, которые она носить пока не решалась, в том числе и потому, что линзы к ним были подобраны не совсем удачные, «наши», а нужны были какие-то другие, «не наши».

Приглашение от художника Трубникова поступило как-то внезапно, да и вообще она волновалась, ведь пригласили ее одну из всего многочисленного женского коллектива – кстати, а почему? Да и одета она была в тот день совсем не празднично, да и многое вообще хотелось бы подправить в плане прически и прочих мелочей... И вот, повинаясь какому-то неясному порыву, она зашла в «Оптику» и забрала эти новые очки, решив их сразу надеть.

Но самое главное – и об этом не раз потом Настя вспоминала со смехом, но вместе с тем и с раскаянием, – что свои старые очки она оставила почему-то в «Оптике», то ли для какого-то мелкого ремонта, то ли просто забыла.

Последствия этого шага были, конечно, ужасны. Если первые сто шагов она прошла в какой-то эйфории, не замечая ничего вокруг, то дальше у нее резко закружилась голова, и она, решив не рисковать и не попадать под трамвай, их просто сняла и пошла дальше по своей старой системе – наугад.

... Самое поразительное, что отсутствия очков никто не заметил.

Помещение поразило ее своими размерами. Потолки уходили куда-то ввысь, как в храме. Сколько там было метров, непонятно, она даже из любопытства спросила, но это лишь вызвало новый взрыв хохота – никто точно не знал. Выросшая на улице Большая Коммунистическая в старом дореволюционном доме – Настя Иванова, конечно, представляла себе, что такое бывает,

но привычные 2.30 в их квартире на Самаркандском делали в ее глазах – притом глазах, лишенных резкости восприятия и точных пределов, – эту мастерскую каким-то волшебным местом для волшебных людей.

И да, это действительно было так.

Мастерская была настолько высока, что в ней имелся даже второй этаж, «антресоли», куда следовало добираться по узкой лесенке. Настя попробовала, опасаясь рухнуть, но все получилось. Там, на антресолях, имелся рабочий кабинет – стол, стул, диван и даже какая-то «дверь в заднюю комнату», куда она не решилась заглядывать, вообще все здесь было настолько интересно, что ей периодически хотелось надеть очки, но вместо этого она прибегала к известному способу всех близоруких людей – щурила один глаз, помогая себе пальцем и превращая глаз в такую щелочку, сквозь которую хоть что-то еще было видно. Так она смогла разглядеть гостей, здесь были все знакомые ей художники и куча незнакомых, а также практически весь отдел писем всесоюзного детского журнала, а также практически весь отдел комвоспитания. Художники были разные – молодые и старые, бородатые и безбородые. Еще она разглядела несусветную пыль на огромных окнах до потолка, разглядела штабеля холстов, уложенные вдоль стен, а также скульптурные работы – Владимир Ильич Ленин в разных видах, два Брежнева и макет станции метро «Савеловская», которая еще не была построена, а только лишь проектировалась. Трубников увлеченно резал вареную колбасу и открывал банки со шпротами и сайрой – оказывается, у него сегодня день рождения! Это было встречено присутствующими с огромным энтузиазмом, криками и поцелуями, однако подарка никто не принес, поэтому всем девушкам велели показать художественный номер, но до этого, слава богу, еще не дошло, другие художники ушли за водкой, и в паузе Трубников начал показывать ей свои работы.

Наверное, это был самый мучительный для нее момент того вечера. Он доставал холсты и один за другим демонстрировал ей, ставил их на стул и долго, искренне, медленно подбирая честные простые слова, объяснял их происхождение, замысел и композицию. Ей было жутко неловко, Трубников был человеком довольно взрослым, с биографией, и было заметно по его взволнованному голосу, что именно до нее, Нasti Ивановой, ему важно донести содержание работ, и даже, как внезапно подумала она, все остальное, весь этот «день рождения», с толпой собравшихся внезапно гостей, был тоже ради этого.

Но дело в том, что она не видела буквально ничего, складывая из цветowych пятен и глухого голоса какие-то свои, только ей понятные впечатления. Ну это так, соцреализм, конечно, но все же, видишь, я тут немного в мистику ударился, – он коротко засмеялся, из чего она сделала вывод, что это колхозный пейзаж, где на первом плане церковь и, возможно, какая-то птица, издали похожая на ангела. Ну это женский портрет, говорил он, ожидая реакции. Здорово, шептала Настя, он радостно смеялся, «поработать еще над ним нужно, немного фигуру прописать». И так продолжалось полчаса, пока наконец не вернулись гонцы с водкой и не раздался в прихожей звонкий женский смех.

Потом все как-то завертелось, и стало немного полегче. Настя не всегда угадывала говорящего, и ей опять приходилось прижимать пальцем уголок глаза, чтобы сделать щелочку и попытаться разглядеть, что это за таинственный незнакомец, который иногда, впрочем, оказывался вполне себе знакомым.

Из-за того, что она мало что видела, гул голосов в ее голове становился все громче, это было абстрактное сонмище звуков, из которых порой доносился радостный хохот. И впрямь становилось все веселее и веселее, художники обычно рассказывали анекдоты на одну и ту же тему – о том, как делали «Ильича» или другую «наглядную агитацию», в их рассказах тема разрасталась и приобретала совсем фантазмагорический оттенок: известный анекдот про Ленина с двумя кепками, одной на голове, другой в руке, обрастал все новыми подробностями, сидящий Ленин, как оказалось, стоял значительно дороже, мелькали баснословные цифры – пять тысяч,

десять тысяч, Ленин с тремя руками, Ленин с половым членом, потому что если встать к нему вот так, на девяносто градусов, то все будет видно, раскосый Ильич в Казахстане и Киргизии, Ленин и Крупская, грудь у Крупской на Тургеневском бульваре, которая оказалась слишком велика, и ей пришлось *делать накидку*, новый взрыв хохота. Постепенно все сползло в игристую плоскость, пошли шутки над Михалычем, это был художественный редактор всесоюзного детского журнала, шутки были над его ослабленным состоянием, слишком много сил отдал производству, девушки сначала отказывались понимать флиртующие намеки, но пришлось объяснить, что у Михалыча новая девушка, – и то ли от вина, то ли от того, что у нее в связи с непривычной оптикой закружилась голова, Насте стало плохо и захотелось уйти.

Но уйти не получилось.

Как будто специально для нее, разговор про Ильича вдруг притих, начались спокойные разговоры о знакомых, кто в какой командировке, кто занят офортами, кто рисует мультфильм, и она вдруг подумала, что в этой компании ей намного легче, чем в любой другой, потому что здесь *настоящие люди*, не какие-то придуманные в литературе персонажи, как в ее редакции, не измученные жизнью, как на улице, а живые – жаль, что она не может взглянуть на них с благодарностью. Дальше течение вечера совсем оторвалось от ее сознания, кто-то включил магнитофон, кто-то пошел на кухню кипятить чай, Трубников с другим художником, Юрой Баренцевым, огромным бородачом в грубошерстном свитере с огромными руками, спорили о Солженицыне, которого они называли Солжем. И вдруг она очнулась, когда ее уже перенесли на какую-то кровать неизвестно где, и кто-то жарким шепотом спросил, как она себя чувствует, бережно потрогал ей лоб. Она не узнала голос, попробовала посмотреть сквозь щелочку, это тоже не помогло, и тогда Настя громко спросила:

– Простите, а вы кто?

Повисла пауза, после чего девчонки непроизвольно прыснули, вслед за ними захохотали художники, и все опять собралось в какую-то единую гармоничную картину.

Возможно, этот вопрос спас ее от какой-то неприятной сцены, возможно, он просто разрядил обстановку, но после этого все как-то стало тихо и нежно, Настя, отсмеявшись над собой и над другими, смотрела в огромный невероятный потолок, вдыхала резкие запахи масляной краски и думала о том, что этот нерезкий мир все-таки лучше резкого, но с ним ей пора расставаться навсегда, а то вот так случайно выйдешь сослепу замуж, и что тогда делать?

Эта мысль показалась ей смешной.

И грустной.

В этот момент в мастерскую к Трубникову зашел я, мы столкнулись с Настей в дверях, в прихожей, я пришел, она уходила, она узнала меня по голосу, на лице застыла дрожащая улыбка человека, который вежливо и покорно *улыбается всем*, потому что с трудом различает лица и голоса, я спросил ее, не надо ли проводить, но она ответила твердым отказом.

Настя в этот вечер вышла из знаменитого дома на Верхней Масловке, не совсем понимая, куда ей идти. Сверху над крышей дома горели в ночи огромные буквы: СЛАВА КПСС.

И она вздохнула с облегчением.

Все было хорошо.

Теория упругости

1

Зимой тоже нужно было в чем-то ходить...

Настя Гордон (русская, член ВЛКСМ с 1980 г., не замужем, младший лаборант научной библиотеки Московского института стали и сплавов) осознала эту простую мысль еще в сентябре. И она, эта мысль, пронзила ее своим лютым холодом и свинцовой неизбежностью.

Дело в том, что ее любимое синее пальто окончательно пришло в упадок. В упадок пальто приходило долго, это было очень хорошее пальто, короткое, сильно приталенное, с длинными вертикальными карманами, оранжевыми огромными пуговицами и главное – с небольшим коричневым меховым воротником, который ей был очень к лицу. Она носила его без шапки, только в тридцатиградусный мороз натягивала небольшой вязаный шлем, который ее не украшал, а лишь подчеркивал временный характер этого положения, когда волосы приходилось обуздывать.

Но дело в том, что мама достала (именно достала, а не просто купила) это пальто еще в десятом классе, и с тех пор уже много воды утекло. Насте очень не хотелось с ним расставаться, в этом пальто она была хороша и вместе с тем выглядела открыто, просто и естественно. Однако все хорошее когда-нибудь кончается, кончилось и это пальто, верней кончилась *эпоха* этого пальто, что, в сущности, было гораздо важнее: ведь в этом пальто она пережила все самое главное – роман с Бородаевым, параллельный *как бы роман* с Петровым, выпускные экзамены, поступление на факультет, работу в пресс-центре Гидрометеоцентра СССР, первую зарплату и первый длинный страстный поцелуй, ну и другие важные события менее крупного масштаба. Например, первую встречу Нового года без родителей, всякие там концерты, театры, премьеры фильмов и так далее, и так далее.

Рабочих концепций было три.

Первая: сшить новое.

Пальто, в отличие от платья, можно было сшить только в ателье, мама заставила ее вместе съездить куда-то на Красносельскую, они долго разговаривали там с какими-то унылыми, замученными жизнью тетками, тетки совали ей в руки какие-то отрезы, показывали выкройки. «Но мех вы сами», «мех мы не можем», – повторили они раз двадцать или тридцать. «Ну а какой мех, кролик, что ли?» – скучно думала Настя, и ей совершенно не хотелось ни ездить сюда, на Красносельскую, на примерки, ни искать этот дурацкий мех типа крашеной кошки или несчастного кролика, ни вообще отдавать приличные деньги этим старорежимным теткам, чья молодость прошла в эпоху позднего сталинизма.

Нет.

Вторая концепция была веселее – найти удачную шубу в комиссионке. Было понятно, что это непредсказуемо, раз, и дорого, два. Но и комиссионки были разные, и шубы тоже: говорят, иногда люди срочно расстаются с такими сокровищами, что даже не совсем понятно, как можно по доброй воле отдать в чужие руки столь великую красоту. И было еще интересно, чисто теоретически, как они вообще живут, эти люди, у которых *такое есть*, ну какие, например, у них бывают осенние сапоги или там сумки... Однако все поездки по комиссионкам кончились вообще ничем.

Все было нереально дорого, а что-то приличное и не слишком «богатое» стоило примерно от тысячи рублей, любой скромный, короткий, но хороший выделанный мех начинался

с немыслимых высот: «хорошее, но приличное всегда стоит дороже», важно объяснила мама. Никаких этих чернобурок или лисиц ей было даром не нужно, убитые животные уже тогда смущали воображение, мама даже стала звонить знакомым стоматологам (стоматологи всегда в курсе всего), а также спрашивала у подруг на старой и на новой работе, нет ли каких-то «своих людей» в комиссионке, поскольку было уже понятно, что что-то стоящее может находиться лишь где-то в подсобке и не выставляется наружу. Но все их титанические усилия были тщетны.

Наконец в комиссионке на метро «Аэропорт» она присмотрела шубу из светло-серой цигейки, короткую, легкую, нормальную, ничего особенного, но в ней все-таки что-то было – однако когда она пришла домой и назвала цифру, папа сразу грустно сказал: «Таких денег, к сожалению, нет». Они с мамой ушли совещаться в спальню, потом мама вышла и тоже грустно покачала головой, а папа весь вечер был какой-то нервный: ставил то одну пластинку с джазом, то другую, будто хотел сам себя убедить в том, что счастье не в деньгах, или как там это говорится...

И тогда созрел вариант номер три: дубленка.

Дубленку можно было, в отличие от хорошей шубы, просто купить с рук.

Однако же октябрь незаметно кончился, и наступил ноябрь.

Задули холодные ветры, посыпался первый снежок, на лужах появилась наледь, а она продолжала ходить в коротком «детском» темно-синем пальто с темно-рыжим воротником и в ботиночках, потому что к новым замшевым сапогам ей просто нечего было надеть.

И в этот критический момент, когда даже вставать по утрам от этих мыслей стало как-то тяжело, добрые люди неожиданно рассказали ей про деревню Мотоль. Известие о том, что там делают замечательные дубленки и покупать их здесь в Москве (в два раза дороже) просто бессмысленно, а лучше поехать за ними прямо туда, в Брестскую область, – отнюдь не застало ее врасплох.

Чтобы приобрести что-то подходящее к замшевым сапогам, она была уже готова на все. На какие-то просто подвиги. Ну например, она представляла себе так: вот подходит к ней в очередной комиссионке какой-нибудь грузин, предлагает подходящую дубленку, но чтобы «обсудить цену», зовет ее в ресторан. Понятно, что идти туда нельзя, но ради дубленки она готова была уже и на это. Грузин, правда, никак не подходил, хотя она уже довольно ясно представляла весь этот ужас. Но, может, и слава богу, что не подходил, все как-то образуется, Настя Гордон в это искренне верила.

Когда она пришла домой с новостью о деревне Мотоль, папа сначала ничего не понял – если это фабрика, с ней можно списаться, и вообще у него в Белоруссии есть знакомые геологи, они помогут.

– Пап, ты не понял... – терпеливо сказала Настя. – Это не фабрика. Это местные жители делают дубленки для себя и на продажу. Просто если ехать туда самим, будет нормально стоять. А билеты дешевые, вся поездка может обойтись в каких-нибудь двадцать рублей, я узнавала.

– Нормально – это сколько? – с вызовом спросила мама.

– Нет, ну я понял, – торопливо сказал папа. – Надо, значит надо... Ну триста рублей, четыреста, да?

– Вероятно, – сказала Настя и покраснела.

– Что же, ты одна туда собралась? – тяжело спросила мама.

– Пока да... – пожала плечами Настя.

– «Пока» – это как? В поезде попутчиков найдешь?

Чтобы тоже не раздражаться, Настя поблагодарила за ужин и тихо ушла в свою комнату, оставив родителей шушукаться на кухне.

Ночью она долго не могла заснуть, мысли были разные, тяжелые, но какие-то другие – в них появилась надежда. Причем впервые в жизни Настя преодолевала подобный кризис сама, без помощи родителей. Ну то есть как, с помощью, конечно, но только с материальной. Обычно все эти «кризисы» довольно легко разрешала мама – всегда находились какие-то неожиданные «вещи с рук», какие-то странные тети, о которых она раньше никогда не слышала, ну кроме того мама шила, мама вязала, мама доставала обувь во время распродаж на работе, но тут и она спасовала перед острой проблемой зимней одежды.

Это было неожиданное ощущение – да, она стала взрослой и теперь будет решать эти проблемы и зарабатывать на них сама. Деньги на дубленку она, например, родителям тоже постепенно отдаст. Будет отдавать... ну хорошо, по двадцать рублей в месяц.

Настя удовлетворенно вздохнула и повернулась на другой бок.

На другом боку ждали ее другие мысли – тоже тяжелые, но тяжелые как-то иначе.

Ведь сколько на самом деле стоит эта дубленка у работающих белорусских крестьян, она фактически не знала. Говорили, что можно купить за двести-триста рублей, но правда ли это? Ну предположим, она не может стоять, как болгарская фабричная дубленка в комиссионном магазине, тысячу сто или тысячу двести рублей. Но даже если она стоит вполтину меньше – то есть рублей пятьсот, таких денег ей все равно родители не дадут. Что же тогда делать? Может ли она, например, попросить на работе в кассе взаимопомощи?

Никогда раньше ей не приходило в голову брать в долг такие крупные суммы денег.

Но тут она решила, что спросит.

Это была ее вторая работа. К сожалению, не очень удачная. Она таскала на тележке книги в сырые необъятные подвалы Института стали и сплавов, причем книжки эти были неинтересные совсем – какие-то сложные учебники по теории упругости, сопромат, математика, органическая химия и так далее, она даже все это запомнить не могла, приличных художественных книг тут не было вовсе, все они были в так называемом «профессорском зале», куда у нее даже не было доступа – по ее удостоверению туда не пускали вообще.

Мужчины в библиотеке не работали, никакие, и поэтому тетки тут были вечно раздраженные собой и друг другом.

Иногда по профсоюзной линии бывали, правда, некие «заказы» (гречка, зеленый горошек, венгерские куры), путевки в санаторий, пахучие лесные елки к Новому году, билеты в театр и дефицитные латышские духи «Дзинтарс» – в общем, все как везде, но на нее это не распространялось, она работала тут всего два месяца и даже не рассчитывала на эти профсоюзные сокровища, над которыми в душе потешалась – надо же, и из-за этого кипят такие страсти! Единственной привилегией этой работы были бардовские и поэтические вечера – Юрий Левитанский, Давид Самойлов, Булат Окуджава, поэты величиной поменьше, но тоже хорошие, весь этот абонемент устраивал тоже бард и одновременно профессор по сопромату Берковский, его песни она знала и иногда видела в коридоре или в очереди в столовую его надменный нос и высокие брови. И на эти вечера она дважды приглашала своих знакомых – один раз Петрова, с которым был *как бы роман*, и один раз Бородаева.

Однако «касса взаимопомощи» у них определенно была, она это знала точно, поскольку сдавала туда по три рубля каждую зарплату.

На следующий день она подошла к Валентине Васильевне, заведующей абонементом, и спросила: сколько она может оттуда взять?

Та посмотрела как-то не очень приятно, но потом отвела взгляд и вздохнула.

– Ну конечно, ты можешь, – спокойно сказала она. – Ты же сдаешь туда деньги. Сколько тебе нужно? Впрочем, нет, это не важно, все равно не более пятидесяти рублей.

...Весь этот разговор Насте был крайне неприятен, особенно с учетом того, что про кассу взаимопомощи она узнала в первый же рабочий день и в таких выражениях, что сразу почувствовала себя *обязанной*, хотя «дело это сугубо добровольное», «мы никого заставить не можем», но было сказано это так, что она поняла: с трешкой ежемесячно придется расставаться в любом случае, иначе сочтут за скрягу.

А это было бы нехорошо.

Десятого у них была зарплата, Настя, как и все, пошла в бухгалтерию и получила на руки свои 87 рублей 45 копеек – это с учетом налогов, такова была ее скромная мзда за эти бесконечные дни в сырых подвалах с железной тележкой и с учебниками по теории упругости.

Странно, подумала она мимоходом, что ее не допускают в читальный зал или абонемент, к студентам и аспирантам. Только в хранилище. Есть в этом какой-то зловещий замысел. Может быть, они завидуют ее молодости и хотят, чтобы она заболела чахоткой, эти библиотечные ведьмы?

Впрочем, и среди библиотекарей были добрые сердобольные тетушки и симпатичные моложавые дамы, просто каждый вновь прибывший, наверное, должен пройти через это чистилище, через эти бесконечные сырые коридоры, кончавшиеся, как и положено в советских учреждениях, огромным серьезным бомбоубежищем. Из подвала книги поднимались на специальном лифте, со скрежетом и стуком, как в больнице или морге. А потом приходилось толкать тележку.

Так вот, десятого она получила свои деньги, мысленно отсчитала оттуда двадцать рублей на дорогу, десять на непредвиденные расходы, м-да, еще бы до зарплаты дожить, но главное не это, главное – само приключение, деревня Мотоль, о господи, как же она хотела уже увидеть эту волшебную деревню, где трудолюбивые белорусские крестьяне производят такие чудесные вещи, потом она кивнула Валентине Васильевне и пошла вслед за ней в отдел кадров, где в специальном сейфе хранились все общественные деньги из кассы взаимопомощи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.